



ЖАН
Д'ОРМЕССОН
УСЛАДЫ
БОЖЬЕЙ РАДИ

«Проза нашего времени»

Проза нашего времени (Этерна)

Жан д'Ормессон

Услады Божьей ради

«Этерна»

1974

УДК 82.06
ББК 84(4Фр)

д'Ормессон Ж.

Услады Божьей ради / Ж. д'Ормессон — «Этерна»,
1974 — (Проза нашего времени (Этерна))

ISBN 978-5-480-00155-6

Жан Лефевр д'Ормессон (р. 1922) – великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.

УДК 82.06
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-480-00155-6

© д'Ормессон Ж., 1974
© Этерна, 1974

Содержание

| | |
|---|----|
| Первая часть | 6 |
| I. Елеазар, или Седая древность | 6 |
| II. Брешь | 19 |
| III. От сына Тараса Бульбы до пышек настоятеля Мушу | 26 |
| IV. Часовщик из Русеты и двойная жизнь тетушки Габриэль | 38 |
| V. Месть Жан-Кристофа | 58 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 64 |

Жан д'Ормессон

Услады Божьей ради

© Éditions Gallimard, 1974

© В. А. Никитин, перевод, 2009

© Палимпсест, 2009

© Издательство «Этерна, оформление, 2009

* * *

*Памяти отца моего, либерала, янсениста, республиканца, и
памяти моего дядюшки Владимира, которому услада Божья не
позволила читать эту книгу*

*Так говорит Господь:
Вот, что я построил, разрушу,
и что насадил, искореню – вся эту землю.
А ты просишь себе великого: не проси...*

Иеремия, 45, 4.

*Все это прошло,
Как тень, как ветер!*

Виктор Гюго

*О, дворец! О, весна!
Чья душа без пятна?
О, дворец! О, весна!
Чудесам учусь у счастья,
Каждый ждет его участия.*

Артюр Рембо

Смотри, как я меняюсь!
Поль Валери

Какие книги стоят того, чтобы их писали, кроме мемуаров?
Андре Малро

Первая часть

I. Елеазар, или Седая древность

*Наследственность – единственный бог, имя которого мы знаем.
Оскар Уайльд*

Я родился в мире, повернутом лицом назад. Прошлое ценилось там выше будущего. Деда я помню красивым, осанистым стариком, который жил воспоминаниями. Его мать танцевала во дворце Тюильри с герцогом Немурским, с князем Жуэнвильским и с герцогом Омальским, а моя бабушка вальсировала в Компьене с сыном императора. При этом весь мой древний род, невзирая на все несчастья, баррикады, осады и победы бунтарей, был всегда искренне предан только законной монархии. Ему ничего не говорили милые разным пророкам «поющие завтра». Золотой век с той сладостной жизнью, легенды о которой дошли до нас, как приглушенное эхо, и которой так и не увидели те из нас, кто был помоложе, воспринимался всеми нами как нечто оставшееся позади.

Среди нас, или, скорее, как-то немного над нами витал дух отсутствовавшего молчаливого персонажа – короля. Иногда по вечерам старейшие в роду еще рассказывали нам о нем как о незапятнанном себя и очень добром господине, доверием которого временами злоупотребляли недостойные слуги. Пять-шесть раз на протяжении каждого века король говорил кому-нибудь из прадедов – маршалу или генералу, или первому президенту, двоюродному прадеду, или губернатору Лангедока, или какой-нибудь ветреной двоюродной бабушке – несколько незначительных слов о том о сем, которые потом без устали повторялись из уст в уста. И так нам было радостно от этих слов, что мы порой придумывали другие, все новые и новые. Мы были старинной семьей. Я довольно рано стал задумываться над значением этого довольно загадочного выражения. Спрашивал у дедушки, не было ли, случайно, семей более старинных, чем наша, не было ли времен особо древних, охраняемых, возможно, ангелами с огненными мечами, когда мои предки гуляли одни, а других еще не было, и они появились откуда-то позже. Нет, на самом деле все семьи были одинаково древними. У каждого человека были отец и мать, два деда и две бабки, по четыре прадеда и четыре прабабки. Но при этом от некоторых из предков остались некоторые следы их пребывания на этом свете. Так я узнал, чем мы обязаны памяти о предках.

Прошлое представлялось мне прекрасным лесом, где, переплетаясь, уходили в бесконечность ветви деревьев, тянущихся до наших дней. Часто за ужином отец начинал рассказывать о неизвестных мне дядюшках, тетюшках и двоюродных братьях. Имена их путались у меня в голове. Целый мир пребывал в некоей меланхоличной и счастливой радости, от которой голова шла кругом. Еще задолго до чтения Бальзака и Пруста тени моего собственного прошлого нередко заставляли меня задумываться о приключениях людей.

Внезапно в истории возникала моя семья. Она резко появилась из тьмы небытия. Королю, а может, брату короля пришла в голову гениальная мысль взять с собой в крестовый поход на Восток первого представителя нашего рода, тем и прославившегося. Какой прекрасный дебют в свете! Ужасные пытки, головы, разлетающиеся на мелкие осколки черепа, чума и проказа – все это связано с именем Елеазара, нашего родоначальника, маршала веры и рати Господней. Люди, маниакально преданные истине, которая всегда относительна и менялась на протяжении истории, старались внушить мне, что великий Елеазар, гордость нашего рода, был несказанным, а может быть, и отъявленным мерзавцем. Похоже, его не очень-то уважали в окрестностях Дамаска, Тира и Сидона. Тетушки же мои поминали его в своих молитвах наравне со

святыми угодниками и ангелами-хранителями. В общем, я довольно скоро понял, что история обманчива и что легенды скрывают правду.

Мир начинался с Елеазара. До него все пребывало во мраке, ибо мы еще не родились. Я, конечно, понимал, что у Елеазара тоже были отец и мать, два деда и две бабки, а также четыре прадеда и еще четыре прабабки. Но их как бы не существовало, поскольку их имена неизвестны. Для нас имели смысл только те вещи и люди, у которых были названия и имена. Ведь в именах и названиях уже заключалась идея порядка и иерархии, приверженцами которой мы были. Кстати, одной из причин, среди многих других, нашей недоверчивости по отношению к евреям являлось то, что непонятно по какой причине им случалось порой менять родовое имя. Нам казалось, что поменять фамилию значило нарушить порядок вещей. Ведь даже Всевышний, создав мир, первым делом дал названия растениям и животным, дал имя первому мужчине и первой женщине. Бога мы упрекали только в одном: он не дал нашу фамилию Адаму и Еве. Соответственно, нас несколько раздражало их притязание на первородство. Мировая история до нашего появления не имела большого значения. Впрочем, она была не слишком продолжительной. Из хороших книг мы узнали, что длилась она всего каких-нибудь там пять или шесть тысяч лет. Этого было вполне достаточно для тех малоинтересных эпох, где мы еще не фигурировали.

Впрочем, по причинам, нами не понятым, древние греки и римляне были нашими предками. Мы узнавали себя в них, в их благовоспитанной жестокости, в светской наглости, в несколько чванливом чувстве превосходства, и между нами установилось далекое родство: дядя Алкивиад и дядя Регул. Мы не вдавались в туманные теории, согласно которым чистота расы зависит от принадлежности к германским племенам. Всякого рода умствования у нас были не в чести. У нас был ясный рассудок, и здравомыслие мы почитали выше гениальности, а средиземноморский свет и солнце – выше нордических туманов. Мыслители ценились у нас не слишком высоко. Мы любили художников, архитекторов, воинов и священников. Дедушка мой не бывал ни в Риме, ни в Афинах, но говорил о них так, будто прожил в них всю жизнь. Марий был, по его мнению, немножко пройдохой, мы стыдились Верреса, но Плутарх и Сулла, Перикл и все Горации, в том числе поэт, всегда были старыми друзьями нашей семьи. Этих людей мы бы повстречали, если бы жили в ту эпоху. Но очаровательная простота и уважение к истине позволили нам родиться лишь в эпоху Крестовых походов.

Мы произошли, вперемешку и издалека, от строителей Акрополя, от легионеров Цезаря и от еврея-революционера, чью фамилию мы обожали почти так же, как нашу собственную. Еще одна тайна: это был единственный революционер, которого мы принимали, которого мы даже звали себе в учителя. Всех остальных как бы и не было. Зачем нам были нужны всякие ацтеки и инки, вошедшие в бурную историю позже нас? Мы знали, конечно, что существуют негры, эскимосы и разные представители желтой расы, но мы их никогда не видели. Пришлось дожидаться Колониальной выставки, чтобы моя двоюродная бабушка увидела, наконец, воочию настоящего негра. Кстати, она осталась от него в восторге. И все-таки было невозможно себе представить, что эти люди устроены совсем так же, как мы. Неслучайно ведь Господь, обычно такой снисходительный, наделил их такой внешностью. И даже американцы представлялись нам всего лишь дурно воспитанными большими детьми, о которых трудно было говорить без улыбки. Прабабушка моего дедушки, оставившая после себя мемуары, часто цитировала Шамфора, Ривароля, госпожу де Сталь, Шатобриана. Но ни словом не обмолвилась о Бенджамине Франклине, хотя и встречала его, о чем нам известно из достоверных источников, в Версале. Дедушка мой следовал этому примеру и временами делал вид, будто забыл, что Америка уже не является английской колонией. Он недолюбливал англичан, но еще больше опасался той подозрительной поспешности, с какой колонии стараются освободиться от своих хозяев. «Это такая молодая нация...» – мечтательно говорила о Соединенных Штатах наша соседка по имению, старавшаяся идти в ногу со временем. «Плохо только то, – отвечал мой

дед, – что эта нация молодеет с каждым днем». И добавлял, что если бы он оказался на месте Христофора Колумба, то он ни за что никому бы не сказал, что открыл Америку. Только одна нация, кроме нашей, была достойна внимания, а то и некоторого уважения: это были китайцы. Они изобрели порох, компас, фейерверки, воздушных змеев, отчего в мандаринах, испокон века соблюдавших незыблемые традиции, можно было видеть своего рода ученых коллег, ироничных, немногословных и весьма удаленных от нас неких то ли сообщников, то ли родственников, чей культ предков и закоренелый индивидуализм на веки вечные оградил их от революционных угроз, начавших нависать над Западом еще во времена Лютера и Кромвеля.

У нас был самый что ни на есть простой образ жизни, где главное место занимали мессы, псовая охота, культ белого флага и родовитость. Ничего удивительного в таком образе жизни мы не видели: слишком давно он установился, и ничего иного мы просто не могли себе представить. Но достаточно мне вспомнить какое-нибудь время года, день и час этого совсем вроде бы светлого существования, чтобы тут же осознать всю плотность тайн, скрывавшихся за этой прозрачностью. Понадобилось очень много времени, чтобы все стало таким легким. Понадобилось много страданий, много пота и крови, чтобы я мог весело кататься на велосипеде по аллеям вокруг большого каменного здания с башнями и дозорными дорожками, которое местные жители называли замком. И они были правы. Это был всем замкам замок.

Нам казалось совершенно естественным жить в замке. Здесь родился мой отец, и его отец, и отец его отца. Из поколения в поколение мы здесь рождались и возвращались умирать. Один из братьев моего прадеда был на протяжении долгих лет невероятным и очаровательным мошенником. Благочестивого уничтожения чудом избежали лишь одна-две его фотографии. Он дюжинами продавал не принадлежавшие ему дома, корабли, скаковых лошадей, а то и женщин. Захватив с собой приданое сразу трех девиц, разумеется, девиц из высшего общества, он укатил в Южную Америку. Рассказывали, что его матушка, святая женщина, узнав об этом, умерла от горя. Как и все ее предки, она умерла в Плесси-ле-Водрёе. А через несколько лет он и сам вернулся из Аргентины, вернулся по своей воле, не опасаясь ни полиции, ни кредиторов, ни отцов и братьев своих невест, и почил в Господе, который только тем и занимался, что прощал нам наши преступления, наши безумства и ошибки. Так вот и организовывались вокруг нас наше пространство и наше время. Время, которое текло в обратном направлении только к своим истокам. А пространство имело своим центром колыбель нашего рода, куда мы и возвращались умирать.

Как вы сами понимаете, замок моего отца и деда, его отца и его деда и их прадедов на протяжении веков и поколений наполнялся завещанным имуществом. Комодами-склепами, цилиндрообразными секретерами с круглой крышкой, столами с инкрустацией и лакированными столиками самой разной конфигурации и назначения, с ящичками и без оных, опускающимися и поднимающимися по желанию, коврами и гобеленами из Обюсона и Фландрии, портретами предков в рост при всех регалиях, небрежно опирающихся одной рукой на письменный стол, с письмом в руке, на котором четко выделялось священное слово: «Королю». Все это и еще много-много другого, что загромождало анфилады чердачных помещений, полных пыли и огромных сундуков, куда нам запрещалось прятаться и где за паутиной скрывались привидения предков, все это наносилось поколениями, сменявшими друг друга, подобно морским волнам. Продавать и покупать считалось занятием подозрительным, неосторожным и вульгарным. Монтень где-то хвалится, что ничего не приобретал и ничего не промотал. Мы тоже никогда ничего не покупали и никогда ничего не продавали. Все накапливалось постепенно в результате бракосочетаний и кончин, из приданных и завещанного. Мы тут были ни при чем – такие формы принимала наша элегантность. Наше богатство, как и наше имя, уходило во тьму веков.

Каждая нация, каждая семья, каждый человек живет мифом, украшающим его существование. Нашим мифом был замок. В нашей повседневной жизни замок играл огромную роль.

Наверное, можно сказать, что он был воплощением нашей фамилии. Нечто священное связывало их. Наша фамилия как бы окаменела. Это были не просто стены, башни, огромный внутренний двор, спиральные лестницы, по которым король Франциск I поднялся верхом на коне, когда вернулся из плена в Павии, не просто рвы, заполненные водой, где плескались карпы, помнившие еще золотые деньки легитимной монархии. К замку еще прилегали поля и леса, создававшие ему прекрасное обрамление. Время от времени дедушка поднимался со мной на самую высокую башню. Замок возвышался над всеми окрестностями. Стояла прекрасная погода. Он показывал мне богатства, дарованные нам веками. Вдали виднелись Сен-Полен и Руаси. Вильнёв и кладбище в Русете, где нас всех хоронили. Бабушка любила повторять, что это исконно французская земля, а дедушка добавлял, что именно такие края воспели Ронсар, Лафонтен и Пеге. Я смотрел. Смотрел и видел милые сердцу поля, деревья и холмы. Этот уголок Франции принадлежал нам.

После Бога, короля и нашей фамилии был еще один персонаж, порой склонный к буйству, который тоже, случалось, навещался в наш замок: это была Франция. Наши отношения с ней были довольно двусмысленными. Естественно, Франция была менее древней, чем наше родовое имя. Она была менее древней, чем король, скроивший ее из разных кусков. И была она также менее древней, чем Господь Бог. Но еще до великой бойни начала этого века один из моих дядюшек и два кузена отдали за нее жизнь не то на рисовых полях в Азии, не то в африканских песках. С Францией нас соединял не брачный союз. Мы были повенчаны с монархией и Церковью. А современная Франция была для нас чем-то вроде старой любовницы, к которой привязываешься лишь со временем, после многих бурных сцен и искупительных жертв, поскольку короля уже не было, надо было как-то с ней поладить. Мы не очень-то жаловали ни господина Тьера, ни Гамбетту, которого дедушка упорно величал Гранбетой, не лучше относились мы и к Робеспьеру и Жану Жаку Руссо. Впрочем, были в истории Франции и такие прекрасные дни, как времена маршала Мак-Магона и герцогини Юзес, чьи прогулки по Булонскому лесу даже столько лет спустя оставались излюбленной темой летних бесед под старыми липами, где вся семья собиралась пить кофе. Мы говорили о Франции столько всякого дурного, сколько было в наших силах, но при этом считалось хорошим тоном отправляться куда-нибудь погибать у нее на службе. Умереть за то, что заменяло собой короля, было в наших глазах скорее привычкой и ремеслом, чем проявлением любви или чувства долга.

К сожалению, Францию захватила Республика. Сомкнем же ряды, Полиньяк, Буланже, полковник Анри, Жюль Леметр, Леон Доде, Шарль Моррас! Сомкнем наши ряды, Шамбор, под нашим белым знаменем! Дед мой, во имя Франции, настоящей, другой Франции, содержал, для войны с Республикой, крохотную полуподпольную армию, лишь отдаленно напоминающую о великолепии монархии и доблести шуанов: дюжину гимнастов, маршировавших под звуки своих горнов в День святой Жанны д'Арк. Однажды вечером, не знаю уж, по какому-то несчастному стечению обстоятельств, к моему деду приехал некий министр Республики. Войдя в гостиную, тот заметил валявшуюся на столе газету. В силу естественного, вполне простительного любопытства он не удержался и развернул газету, а развернув, увидел, что это была «Аксон франсез», ежедневно печатавшая оскорбительные материалы о нем, подвергая сомнению его нравственные устои, его финансовую честность и его способности.

- Ага! – воскликнул министр. – Вы читаете эту гадость?
- Ежедневно, – отвечал дедушка.
- Как отвлекающее средство? – спросил министр.
- Нет, сударь, как укрепляющее!

Вопрос этот не обсуждался: мы умирали за Францию. Но хотя мы и находились в одном лагере с националистами, она не была нашей родиной. В Богемии, в Польше, в Баден-Вюртемберге, в Шлезвиг-Гольштейне, в Бельгии, в Италии, в Вене, в Москве и в Одессе мы чувствовали себя так же дома, как и во Франции, а то и в большей степени. Отец мой говорил, что

Церковь, пианисты, евреи, социалисты и мы не имеем отечества. Войны, религиозные преследования, женитьбы и случайности разбросали нашу семью по всей Европе. Одна ветвь семьи, английская, произносила нашу фамилию с невероятным акцентом, итальянские родственники просто прибавили к нашей священной фамилии неаполитанское «о» на конце, а русская ветвь, поехавшая в Одессу за герцогом Ришелье, женилась там всякий раз на эрцгерцогинях, неизменно немках по происхождению, да еще на целой веренице актрис, неизменно французенок, из знаменитого Михайловского театра. Однако особо примечательной оказалась германская ветвь.

Один из моих двоюродных прапрадедушек, не то в двенадцатом, не то в пятнадцатом поколении, женился на сестре адмирала де Колиньи, отчего все его родственники приняли протестантство. Их было довольно много, и всех их перерезали в ночь святого Варфоломея, за исключением одного ребенка, трехмесячного младенца по имени Анри, которого спасла его кормилица, продержав три часа в подвешенном состоянии в широкой каминной трубе, и который, к счастью, не задохнулся там, поскольку в ту августовскую ночь была такая жара, что у пьяных солдат не возникло даже и тени желания разжечь огонь. Луи, внук Анри, после отмены Нантского эдикта уехал в Германию. В войнах, которые вели Наполеон, Бисмарк, Вильгельм и Гитлер, погибли бесчисленные правнуки и внуки правнуков того Анри. Впрочем, добрая дюжина их все же уцелела, и в начале двадцатого века они еще продолжали с варварской элегантностью сражаться на дуэлях, изучать филологию в Гейдельберге и Тюбингене и жениться на дочках Круппа.

В наших глазах все члены этой германской ветви были окружены ореолом таинственности. Мы никогда не знали ни где они жили, ни какого цвета у них были паспорта. Они обитали где-то между равнинами Силезии и горами Богемии, их можно было встретить также в Мариенбаде, равно как и в Шварцвальде, во дворцах и замках Восточной Пруссии и на берегах Рейна, а также в Венеции и в Палермо, где их через их жен связывали фантастические воспоминания об императоре Фридрихе II и о Гогенштауфенах. В ноябре 1918 года брат моего дедушки, в ту пору подполковник при штабе маршала Фоша, с удивлением увидел, как из длинного черного «мерседеса», прибывшего на переговоры о перемирии, вылез германский вице-адмирал Балтийского флота, носивший нашу фамилию: это был дядюшка Рупрект. А его сын, Юлиус Отто, впоследствии нелучшим образом прославился во время националистских бунтов в Германии. Он боролся против коммунистов, сначала вместе с Каппом и генералом фон Лютвицем, потом – с генералом Людендорфом и с писателем Эрнстом фон Саломоном, автором «Изгоев», «Кадетов» и «Анкеты». Юлиус Отто на протяжении всех 30-х годов был последовательным соратником Гитлера, ему все же удалось закончить жизнь героически: ему отрубили голову и в таком виде повесили после того, как он вместе со своим кузеном, полковником графом Штауфенбергом, подложил 20 июля 1944 года под рабочий стол фюрера, в Растенбурге, кожаный портфель с бомбой.

Вот так, через стены замка и простиравшиеся за ними леса, общались мы с окружающим миром. Один из секретов нашей старинной семьи заключался в том, что в этом уединенном уголке французской земли, где мы жили в обществе кюре, горничных и псарей, она как бы воскрешала среди нас всю полуживую Европу и целый мир, уже ушедший в небытие. Все, что когда-то составляло нашу силу и придавало блеск нашему присутствию при дворе в Вене или в Версале, в салонах Лондона или Рима, в военных лагерях и на полях сражений, в монастырях и соборах, на просторах морей всего мира, удалялось все быстрее и быстрее во мрак глубокой ночи. Какие-то кусочки его нам еще удавалось восстанавливать благодаря воспоминаниям и родственным связям. Воспоминания сохранились ясными, а родственные связи были блистательными. Они позволяли нам обманываться на собственный счет. От того, что каждый вечер мы воображали, будто ужинаем с регентом и кронпринцем, с кардиналом де Роганом и князем Меттернихом, со всем тем, что осталось на этой земле от Мальбруков и Юсуповых, мы могли

продолжать убеждать себя, что наше имя по-прежнему находится в центре мировых событий. В общем, существование наше было мечтательным и поистине поэтичным. Мы жили очень далеко от самих себя и во времени, и в пространстве. И мы были не одиноки по вечерам в большом, слабо освещенном салоне в окружении не имеющей цены мебели, под портретами маршала, спасшего двух королей, и прабабушки, лишившей невинности трех других. Старый замок был переполнен тенями тех, кого давно уж нет в живых.

Следует, однако, отметить, что эти выходцы из прошлых времен, мой отец, мой дед, мои дядя вовсе не воображали из себя бог знает что. Буквально по отношению ко всем они проявляли обезоруживающую вежливость. Я никогда не слышал, чтобы они повышали голос. С совершенно одинаковой почтительностью они обращались и к его преосвященству архиепископу, когда он раз в год в связи с конфирмацией оказывал нам честь, оставаясь ночевать в голубой спальне, и к дочерям охранников или фермеров в Ла-Палюше. В личном плане мои родственники отнюдь не были гордецами. Всю свою гордость они приберегали для нашей семьи в целом. Может быть, значительная часть того, что я буду рассказывать, объясняется той довольно скромной ролью, какую играли отдельные личности в нашей коллективной жизни. Любой из нас сам по себе ничего не значил. Значил лишь наш род, начавшийся в один прекрасный день почти одновременно с историей и продолжавшийся по всему миру, принимая самые разные формы, облачаясь в разных странах в униформы противостоящих друг другу лагерей, причем, по замечательной случайности, одновременно в разные далеко отстоящие друг от друга эпохи. Мы по-своему доказывали победу расы над личностью, коллектива над индивидуумом, истории над случайностью. Надо было продолжать, вот и все. Не следовало обрывать нить. Не надо было ронять свое достоинство. Надо было сохранять свое лицо, свое место. Но это всегда было просто место среди прочих мест. Личная судьба обретала смысл лишь в великой фреске времен. История долгим раскладыванием пасьянса, составлением головоломки, в которую каждый из нас добавлял несколько деталей, была коллективной, упорной игрой, в которой желание блеснуть одному мало что давало. В конце 20-х годов мой двоюродный брат Пьер часто играл в регби с ирландцами-католиками. Он говорил, что эта игра напоминала ему семью: в командной игре индивидуальное достижение достается всей команде, и важно не столько отличиться одному, сколько выиграть всем вместе. И никогда не делать передач вперед. И мяч нашей семьи тоже летел всегда только назад.

Должен я сказать и несколько слов о деньгах, поскольку нынче все, как бедные, так и богатые, большую часть времени занимаются их поисками. А для нас вроде бы их и вовсе не существовало именно потому, что они у нас были. Но никто и никогда не осмелился бы о них говорить. И уж тем более зарабатывать их. Подобно чахотке, раку и венерическим болезням, деньги были объектом лечения, заключавшегося в том, что их первым делом погружали в небытие. Такое умолчание делало образ мира несколько смутным, но совершенно очаровательным. Позже, к тому времени, когда начинаются эти воспоминания, деньги совершили триумфальное появление в нашей жизни – вместе с великолепной Габриель, или Габи, женой моего дядюшки Поля. Под окнами замка, в тени старых лип, пришли в движение миллионы и миллионы. Это были предвестники финальной катастрофы, нечто похожее на неожиданное и обманчивое выздоровление больного перед фатальным исходом. Но классическая эпоха не ведала проблемы денег. Они появлялись, и все. Никто из нас не смог бы сказать, каким таинственным образом они превращались в новую черепицу на крыше, в балы-маскарады для кузенов и кузин из Англии, в псовые охоты дважды в неделю в течение полугода.

Этими фантастическими превращениями занимался очень важный персонаж, вступивший в свою должность довольно молодым, а умерший глубоким старцем, в начале новых времен. Звали его господином Дебуа, и он был нашим интендантом. Если у псарей фамилии менялись так, чтобы хотя бы немного напоминать их род деятельности, наивные люди удивлялись

такому разумному совпадению, то нашего эконома всегда звали Дебуа¹. Так уж имя действительно было дано самой судьбой. Тут деньги появлялись не от игры на скачках, не от торговли наркотиками или женщинами – не считая случая с аргентинским дядюшкой, – не от промышленности, не от коммерции и не от биржевых спекуляций. Деньги приносили земля и дома, но прежде всего – леса. Поля, леса, каменные карьеры покорно несли дань в руки господина Дебуа, превращаясь затем в кучеров, лакеев, поваров, садовников. Это было так просто – быть богатым! Нам принадлежала немалая часть земель департамента Верхняя Сарта, самого маленького во Франции, а также несколько домов в разных местах в Париже, на улице Монсо, на авеню Мессины и рядом с ними. Позже я узнал, что в юности Пруст был жильцом нашего дома номер 102 на бульваре Осман и что поддерживать наше существование нам помогали два академика, один чемпион мира по боксу в абсолютной категории и три министра республики, в том числе один социалист. Я уж не говорю о мошенниках и куртизанках: даже сам Дебуа и тот никогда не мог назвать точную цифру.

Конечно, время от времени мы выезжали в Париж. К этому городу мы испытывали сильное недоверие и презрение. Тут имело место нечто противоположное тому, что случилось с Жюльеном Сорелем или Эженом де Растиньяком. Те ехали в Париж на поиски славы. Мы же оставляли свою славу в Плесси-ле-Водрёе и были уверены, что всегда там ее найдем. Нет, в Париже мы искали не славы, уже завоеванной и ждавшей нас дома, мы ездили туда ради танцовщиц и чтобы купить себе обувь. В общем, ради пустяков: походить по магазинам и удовлетворить кое-какие мелкие потребности. Мы пользовались этими наездами, чтобы показать себя на ипподроме Лоншан, на светской охоте, у вечной герцогини д'Юзес, на чаепитиях у тетушки Валентины, на благотворительных распродажах у церкви Сакре-Кёр. Быть может, эти несколько страниц хоть немного помогут читателю уловить кое-какие изменения, случившиеся в промежутке между средневековьем, в котором мы жили, и современностью, приход которой мы упорно отказывались признавать. Вот что, во всяком случае, действительно и явно изменилось, так это столь мелкая и вместе с тем важная деталь, как организация времен года. Оказались перевернутыми отношения с солнцем, с теплом и холодом, с природой и ее фазами. Осень и зиму мы проводили в Плесси-ле-Водрёе, поскольку это был сезон охоты. А приезжали в Париж как раз перед началом жары в конце весны или в начале лета, потому что это было время бегов и тех самых раутов, которые так любил наш жилец с бульвара Осман.

Мы никогда не совершали далеких путешествий. В Париж ездили в экипаже, а позже – поездом. Вот и все. Деду моему и в голову бы не пришло отправиться куда-нибудь в Сирию, в Индию или в Мексику. В такого рода перемещениях нам виделось излишнее беспокойство с налетом вульгарности. После окончания Крестовых походов и корсарских эпопей мы редко удалялись от Плесси-ле-Водрёя. Чтобы оказаться на Лазурном Берегу, надо было иметь большие легкие и, разумеется, ехать туда непременно зимой, когда вы имели шанс у мыса Мартен повстречать императрицу Евгению или императрицу Елизавету, а в Ницце – королеву Викторию или императрицу России, прикрытую во время купания от любопытных взоров ширмой из шестидесяти казаков. Показать в Каннах или в Ницце между маем и октябрём значило снискать себе позор, пережить который было бы просто невозможно. Поездка в Северную Африку ассоциировалась в нашем сознании лишь с тремя побудительными причинами: с убийством или квалифицированной кражей, с бегством от нашествия оккупантов, как это было в случае с эльзасцами, а также с гомосексуализмом. Исключение составляла только поездка в Италию и Грецию. В качестве простительных примеров служили поездки Шарля Бросса, Шатобриана и Эдмона Абу. Те, кто не боялся, что их станут обзывать художниками, имели право сесть в Марселе на пароход или пересечь Альпы, чтобы затем прикоснуться к древним камням Рима и Греции.

¹ На русский можно перевести, например, как Лесовский, Излесов, Лесоватый и т. д. – *Прим. перев.*

Зато другие часто приезжали к нам. У нас были комнаты, предназначенные для друзей. В голубой спальне останавливался архиепископ, были еще розовая спальня, желтая спальня, где ночевал Генрих IV, – ибо не существует истинного замка, где бы не ночевал Генрих IV, – спальня с гвоздиками, спальня Маркизы – потому что в ней одну или две ночи провела маркиза де Помпадур, две спальни в башне и безымянная спальня. Подводки воды не было ни в одной из них, и поэтому не приходилось удивляться, что их избегали привидения. Когда я приезжал на рождественские каникулы к деду, то я нередко видел, как он, чтобы совершить утреннее омовение, разбивает лед в большом кувшине. И все же друзья приезжали. У нас ощущалось присутствие чего-то фольклорного. И люди приезжали, нередко приезжали издалека, чтобы ощутить крепкий пикантный привкус давно исчезнувшего прошлого. Первую ванную комнату в замке оборудовали в 1936 году при правительстве Леона Блюма. Должен же социальный прогресс приносить хоть какую-то пользу, говорил дедушка. Он обладал чувством своевременности действий, умением точно выбрать момент и чутьем на удачные встречи. 6 февраля 1934 года в парке был устроен тир для стрельбы по летающим тарелкам. А сразу после того, как Ставиский пустил себе пулю в лоб, механики и кухарки, получавшие до этого произвольное жалованье, получили наконец возможность предъявлять какие-то счета. Это было поразительным нововведением. Ироническая дань уважения гнилым нравам этого времени. Все были удивлены, а может, даже и слегка шокированы.

Друзья и родственники из австрийской и польской ветвей приезжали не на день и не на уик-энд. Они поселялись недель на восемь. Надо сказать, что приезжали они издалека и что путешествия их были продолжительными. Поляков однажды утренним поездом приехало целых двадцать два человека, причем с таким количеством чемоданов, что начальнику станции в Русете пришлось нанять катафалк и пару дровосеков, чтобы доставить их до замка. А один русский кузен вообще не уехал. Он до сих пор живет в Плесси-ле-Водрее, где из-за потрясений нашего века ему пришлось заняться делом, о котором он и не помышлял во времена, когда участвовал в пиршествах в Царском Селе и в Зимнем дворце: в течение двадцати лет он работал начальником пожарной команды.

Если бы мне нужно было в двух словах охарактеризовать наш образ жизни, я бы сказал с удовольствием, что он был основательным и легким. Основательным – поскольку он покоился на фундаменте, который никогда не колебался в прошлом и в котором не было причин сомневаться в будущем. Между окружающим миром и нами, между нашими убеждениями и нами, между нами и нами же нельзя было бы просунуть даже тончайший листок папиросной бумаги, вроде той, что использовалась моим дедом для скручивания сигарет. Мы были словно приклеены друг к другу. Нам были неведомы какие бы то ни было сомнения, колебания в мыслях, угрызения совести. Нам довелось испытать много несчастий. И начались они очень рано. Несчастьем была Реформация. Несчастьем была революция. Несчастьем было поражение графа Шамбора. Несчастьем было признание невиновным Дрейфуса. Неким небольшим несчастьем было введение Эженом Кайо налога на доходы. Большим несчастьем было осуждение папой римским деятельности «Аксьон франсэз». Но все эти испытания не ослабляли веру во многовековые ценности и честь фамилии. Один из моих кузенов – слава Богу, достаточно отдаленный – решил развестись, а один наш дядя женился на еврейке. Это тоже были несчастья. Жизни без несчастий не бывает. Как не бывает жизни и без несчастных случаев. По мере того как текли годы, мы все меньше и меньше верили, что все в конце концов образуется. А ведь долго сохраняли эту веру. Из надежных источников мы знали, что события, когда они наносили нам ущерб, были несправедливыми и что мы всегда были правы. Бог и король были на нашей стороне. Эта великая коалиция была гарантией нашего прошлого. Будущее, возможно, слегка ускользало от их влияния. Ну и ладно! Мы же жили в прошлом.

Однако имелись кое-какие эпизоды в нашей истории, в отношении которых мы не были уверены, следует ли их считать удачами или несчастьями. Самым ярким примером таковых

был Наполеон Бонапарт. Корсиканец, ставший императором, не получил у нас единодушной оценки. Одни ненавидели его за то, что он не повелел вернуть в страну короля и к тому же казнил очаровательного герцога Энгиенского, приходившегося нам немного родственником. Другие же одобряли его за то, что он разогнал болтунов. Они предпочитали военного, который расстреливает, адвокатам, которые гильотинируют. Другой пример двойственной оценки – женитьба дядюшки, о котором я только что упомянул, на тете Саре. Тетя Сара была еврейкой. И это оказалось для нас очень тяжелым испытанием, с трудом поддающимся объяснению уда-
ром Провидения, своего рода наказанием Господним. Мои дедушка и бабушка на свадьбу не поехали. На свадьбе не было вообще никого. Был только архиепископ Парижский, который их венчал, и четыреста пятьдесят гостей в замке Багатель после мессы. Но тетя Сара оказалась в жизни не только красавицей, хорошо вписавшейся в семейный круг, но еще и очень набожной, добропорядочной и благонамеренной женщиной. Она была близко знакома с несметным количеством германских курфюрстов и эрцгерцогов, а также с архиепископом Парижа. К тому же она была очень богата. Вот и поди разберись, как надо относиться к очень богатой еврейке, большей монархистке, чем сам король, и, естественно, принявшей католическую веру и носящей нашу фамилию!

Я бы очень не хотел, чтобы подумали, будто я насмехаюсь над нашей семьей. Быть может, нынче, когда многое изменилось, мне позволят здесь с некоторой торжественностью заявить, что нет ничего более благородного, более чистого и достойного любви, чем эта порода людей, в среде которых я появился на свет. Были у нее и недостатки. А у кого их нет? Так ли уж, например, был хорош господин Даладьё? Были у нее и свои комичные стороны. Ничего не скажу о господине Блюме: он был принц, как и мы. Но ведь порой республиканцы выглядели смешно. Иногда она была жестокой. А разве у революции руки не были в крови? У нас за спиной возвышалась такая стена из воспоминаний, традиций и предрассудков, что нам пришлось держаться прямо. И мы держались очень прямо. Мы крепко стояли на ногах. И умели умирать. Люди нас любили.

Люди любили нас. Кто-то может сказать, что они не понимали, что религия заморочила им головы, что они не вполне понимали, кто они такие. Но я здесь не для того, чтобы дискутировать. Я здесь для того, чтобы рассказывать. И я говорю: люди нас любили. Не знаю, любили ли они семейства Конде, Ришельё, Ларошфуко, Талейранов-Перигоров. Я говорю лишь, что вот нас, нас они любили. И доказали это в годы Соппротивления и после Освобождения. За нами была вся страна. Половина была за деда, оказавшегося на стороне маршала Петэна. А другая половина – за моего кузена Клода, командовавшего отрядом партизан.

Люди любили нас по очень простой причине. Потому что мы любили их. Да, мы их любили. И прошу вас не смеяться, потому что я говорю сущую правду. Мы не были социалистами, не были демократами. Мы терпеть не могли социализм и демократию. Однако мы были христианами. Прежде всего – католиками, ну и вообще христианами. Мы любили своего ближнего. Понятие «ближний» «тогда еще не очень далеко простиралось за пределы замка и наших земель. Нам были безразличны судьбы маленьких алжирцев и детей в Конго, нас не трогали наводнения Желтой реки и нищета в Перу. Но мы любили наших простых людей в Плессиле-Водрёе и в Руаси, в Вильнёве и в Сен-Полене.

Впрочем, может быть, здесь я не совсем справедлив. Моя прабабушка велела нам, детям, откладывать фольгу от шоколадных плиток, чтобы посылать ее детям в Китай, и я отлично помню, как она все время говорила о своей любви к берберам и кабилам. Не знаю уж, почему она так любила именно берберов и кабилов. Некоторые могут даже сказать, что это была своеобразная форма расизма. Должен признаться, что она предпочитала берберов и кабилов, и особенно их детей, взрослым арабам. Много позже, во время конфликта между султаном Марокко и пашой Марракеша, я невольно подумал, что прабабушка моя наверняка была бы на стороне Глауи, поскольку он не был арабом. Она питала к хозяевам Атласских гор, равно как и к китай-

ским мандаринам, некую избирательную любовь, которую марксисты нынче довольно прямолинейно объясняют классовым сродством. А что тут такого! Теперь всем известно: никто полностью не свободен. Над нами тоже довлела история и, наверное, больше, чем над кем-либо еще. Но при этом мы старались, как могли, любить наших братьев во Христе.

А случившееся в 1902 году извержение вулкана Пеле на острове Мартиника? Это было страшное бедствие, о котором в нашей семье говорили с дрожью в голосе еще много лет спустя. Помню, как мы разглядывали в журнале «Иллюстрасьон» картинки этого бедствия. Нет, нельзя сказать, чтобы мы были так уже черствы и бесчувственны. Просто мы были меньше информированы о дальних странах, чем нынешние обожатели маленького экрана. И к тому же мы не любили проливать слезы, ничего при этом не предпринимая. Раньше мы совершенно не так, как сейчас, все воспринимали. Бабушка моя редко беспокоилась по поводу того, что происходило в Африке, в Азии или в Южной Америке, но если уж начинала говорить о тамошних бедах, то тут же смотрела, не может ли она что-нибудь сделать, чтобы облегчить участь несчастных. Были у нас повара, которые любили, чтобы их называли шефами, и которые носили большие белые колпаки, обильно сдобренные крахмалом. Были у нас метрдотели и выездные лакеи, домашние учителя и садовники, механики и повара, лесники и псары. Но никогда, никогда никто из наших людей – ибо так мы их называли и так же они называли сами себя, – никто из наших людей не уходил в мир иной без того, чтобы бабушка, или мама, или кто-нибудь еще из моих родных не стоял у деревянной кровати под самшитовым крестом с распятием, чтобы держать руку умирающего при последнем издыхании. Наши люди принадлежали нам. Но и мы принадлежали им. В ту пору на работу не брали первых встречных, которых можно было бы сменить, как меняют рубашку, или автомобиль, или, скажем, молочницу. Человек, поступавший к нам на работу, не нуждался в социальном обеспечении, которое тогда и не существовало, в пенсии, которая тогда тоже не существовала, в диспансерах, которых тоже не было. Всякий, поступавший к нам на службу, знал, что он больше никогда не окажется безработным, не окажется без средств к существованию, что в случае болезни его будут лечить, что его будут защищать от превратностей судьбы и опасностей и что если он умрет, то его дети не будут брошены на произвол судьбы. Да и как могло быть иначе? Ведь с того дня, как он или она поступали на службу, чтобы согреть грелкой постель или подметать аллею, они становились членами нашей семьи.

Мы были далеки от того бездушного, ледяного протокола, какой соблюдался в австрийских или английских домах, где иерархия мест на кухне и в людской точно воспроизводила порядок старшинства в столовой и где, как я слышал, слуг приезжавших гостей звали по фамилии хозяев или хозяек. Мы же были – дедушка и сторожа его охотничьих угодий, бабушка и ее горничные, дядюшки и их псары, – все мы были большой, крепкой семьей, все члены которой поддерживали друг друга. Эта семья включала также и жителей всех окрестных деревень. Мелкая торговка из Вильнёва, дровосеки из Русеты, лесники, кровельщики, дорожные рабочие на наших дорогах – все принадлежали той же системе, что и наш померанский кузен, генерал уланов, или старый помощник папского трона, наш двоюродный дед из Романи или Лукании. Мы никого не презирали. Причем вовсе не оттого, что были такими уж совершенными. А оттого, что вместе с остальными людьми составляли очень старое строение, все части которого были связаны между собой цементом незапамятных времен, строение, где только Бог и король, когда, увы, он был еще легитимен, отличались от прочих существ.

Мы жили в некоей системе. Она принималась без рассуждений, была немного загадочной, почти таинственной, совершенно непонятной для современных умов. Это была система чести. Она была такой же непреклонной, как марксизм или философия Гегеля. Но об этом никто никогда не говорил. Объяснять ее считалось неприличным. Мы находились слишком близко от земли, от лошадей, от наших старых деревьев, чтобы любить идеи. Но вся наша тихая жизнь была освящена верой, о которой мы никогда не говорили. Вера в непрерывную

преемственность, в постоянство вещей и людей, в великий промысел Божий, одним из совершеннейших воплощений которого была, несомненно, наша фамилия. Мы только-только начинали понимать, не без некоторого удивления, что этот великий промысел божий всегда подвергался большому сомнению. Поражения, бедствия, измены не представляли для нас большой опасности. Мы не боялись бедствий: мы прошли через великое их множество. Измен мы тоже не боялись: приходилось переживать и их, причем с высоко поднятой головой. Такого рода неприятности были не очень существенны. Нет, установленный Богом порядок подтачивали, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, крошечные термиты, зловредные насекомые, отвратительные грызуны: идеи. Цезарь в Галлии, варвары в Риме, турки в Константинополе, французы в Москве и русские в Париже, чума, голод, наводнения причинили не так уж много зла, гораздо меньше зла, чем Лютер, Галилей, Дарвин, Карл Маркс, доктор Фрейд и Альберт Эйнштейн. Трое из этих шестерых были иудеями, двое – протестантами, причем один из них оказался еще и атеистом, а другой – почти еретиком. К этому черному списку позже прибавился некий Пабло Пикассо, считавший себя коммунистом и разрушавший человеческое лицо. Мы ставили в вину евреям не столько их деньги, их пейсы, убийство Христа и их крючковатый нос – кстати, на прекрасном лице тетушки Сары нельзя было обнаружить ни малейшего следа горбоносости, – сколько их привычку думать. Сами мы думали очень мало. Дедушка с удовольствием рассказывал, как брат его, сев однажды в экипаж парижского извозчика, увидел, что тот, наверное социалист, читал при слабом свете фонаря журнал «Мысль». «Мыслитель! – приказал он, – вези меня в ресторан „Максим“!» Голос, звучавший сквозь толщу земли, сквозь века, призывал нас не размышлять.

Нерушимое здоровье, позволившее нашему роду продлиться много столетий, проистекало из отсутствия идей. Величественное здание, увенчанное Богом и императором, королем и папой, кардиналами и маршалами Франции, герцогами, пэрами и нами, получило смертельный удар от Галилея и Дарвина. Первый помешал Солнцу вращаться вокруг Земли, а второй провозгласил обезьяну нашим предком. Ну разумно ли полагать, что вышедшая замуж за одного из испанских Бурбонов тетушка Мелани, чья ставшая притчей во языцех лучезарная красота поразила насмерть одного за другим двух ее кузенов, произошла от мартышки или орангутанга? Право, у японцев было больше мудрости и понятия о приличиях, когда они объявили, что их императоры являются потомками Солнца и Луны. Нам хватало спокойной внутренней силы, чтобы не слишком верить рассказам ученых. Ведь они очень часто были республиканцами. В глубине души мы всегда были согласны со святой инквизицией. Солнце испокон веков вставало и садилось, дабы не меркла слава нашего семейства. И негоже было нам ни с того ни с сего, по воле какого-то итальянца не шибко знатного рода начать вдруг самим крутиться вокруг светила. А случай с Дарвиным выглядел и того проще: это был просто негодяй. Хладнокровно и трезво рассуждая, мы спрашивали себя, во имя чьих зловещих интересов – как-то наверняка связанных с евреями или какими-нибудь масонами – ему захотелось нас унижить?

Мы не желали видеть и не видели трещины на фасаде здания, не видели выцветших тканей и заплатанных штанов в кортеже славы, не видели хромающих стариков, взбунтовавшихся рабов и колченогих лошадей. Вы мне верите, не так ли? Мы сражались не ради денег. Мы сражались за тот образ мира, о котором не имело смысла спорить. Возможно, товарищ Карл Маркс был прав, когда говорил, что мой дед и все, кто шел за ним, защищали исключительно свое экономическое положение. Однако к тому, что он говорил, следовало бы добавить то, что говорил доктор Зигмунд Фрейд, о чем мы, естественно, не подозревали. Дело в том, что между нами и деньгами находился непроницаемый экран, созданный Богом, королем, историей, честью семьи.

Этот мир, еще такой прочный, стал очень легким из-за того, что над ним потрудились челюсти термитов. В нем появилось много дыр. Мы жили уже не в прежнем пьянящем мире реальности – ветви на дереве засыхали и отмирали. Мы не работали. Жизнь продолжалась без

нас. У нас не было с ней сцепления. Мы ушли со службы, чтобы предаваться грустным воспоминаниям. Все способствовало этому уходу в отставку. Глава семьи, мой дед, не смог даже проявить себя в единственном своем имеющем восьмивековую традицию ремесле, в военном деле. Он был моложе бабушки на два или на три года, поскольку родился в 1856 году. И в 1870 году ему было всего четырнадцать лет, то есть он был слишком мал, чтобы участвовать в войне. А в 1914 году, в пятьдесят восемь лет, – слишком стар. Ну а в 1945 году ему было восемьдесят девять лет, и он оказался еще достаточно живым, чтобы в радостные дни победы стать свидетелем конца того мира, по которому он прогулялся походкой дилетанта. Вот про этот-то конец мира я и рассказываю. Печальнее повести не придумаешь.

Мы были легкомысленны. Ах, какими мы были легкомысленными! Очаровательными, нередко красивыми, всегда безупречно воспитанными, великими, очень сильными и очень слабыми, были великолепными охотниками, иногда бледными и утомленными, всегда неутоимыми и ненасытными, жертвами апоплексических ударов, безгранично храбрыми и жадными до развлечений. Мы были инками и ацтеками, русскими кулаками, катарами, богомилами, грузинскими князьями, купцами из Балха или из Мерва в эпоху Чингисхана, героями Атлантиды – всеми теми, кто, сами того не зная, были обречены на исчезновение. Какая ирония судьбы. Мы думали, что мы князья, что мы господа, это мы являемся правой рукой Отца Всевышнего, а оказались в положении тех, кого мы больше всего презирали, в положении польских евреев 1939 года. Мы – со всеми нашими старинными замками и прекрасными манерами, с нашим дружеским расположением к ремесленникам, к плетельщицам соломенных стульев и гончарам, с нашими безумными идеями о чести, с нашим пренебрежением к деньгам и к труду, с нашим справочником древних родов под мышкой и Богом в виде идола, нашей любовью к земле и к прошлому – заранее были обречены на смерть в мире, летящем в будущее, откуда заведомо исключались деревья, лошади, терпение, вечность, уважение. Обречены наравне с евреями и коммунистами, наравне с цыганами и масонами стать добычей палачей, пасть от удара топора, от пули в затылок, умереть в концентрационных лагерях. Однако они еще могли взять реванш, у них еще была надежда на будущее. А у нас никакой надежды уже не было. Знали ли мы об этом? Думаю, что это было нечто подобное мысли о смерти у всякого простого смертного: мы знали, что умрем, смутно догадывались, что мы уже умерли, но не хотели в это верить и не могли верить. И мы скрывали от самих себя мысль о своей ужасной судьбе. Скрывали, наряжаясь в роскошные одеяния, скрывали за угаром псовых охот, за предрассудками культа традиций, за особой формой комичного и абсурдного, которой тень смерти придавала своего рода величие.

Воплощением этого комичного величия мне представляются мои двоюродные деды Жозеф и Луи, да еще мой двоюродный прадед Анатолий с их высокими накрахмаленными старомодными воротничками, с их бакенбардами, с их сюртуками и рединготами, с их неподражаемым акцентом, с их верностью легитимной монархии, со строгостью их суждений и убеждений, с их безупречной честностью и безнадежной неспособностью видеть. Они не были невеждами. Они говорили на древнегреческом и на латыни гораздо лучше меня, хотя я добрых лет десять зубрил их без особого успеха в школах Республики, и они прочитали все, что было написано до XVIII века и даже в начале его. Позже отбор читаемого стал у них строже. Некоторых вообще не читали, например Жана Жака Руссо и Дидро – за их дерзость и дурные мысли, а после 1789 года читали лишь двоих-троих: Жозефа де Местра, Виньи, Барбе д'Оревиля, ну, может, еще Бональда, Октава Фёйе, Виктора Шербюлье, Мориса Барреса или Леона Доде, и уж, конечно, крупнейшего из всех, виконта де Шатобриана, чьи произведения все мои близкие знали от начала и до конца чуть ли не наизусть, совсем как произведения герцога Сен-Симона, являвшегося родственником нашей семьи. Так как он женился на Марии-Габриэль де Дюрфор, дочери маршала де Лоржа и сестре герцогини де Лозен. В Шатобриане им нравилось все: его происхождение, его идеи, его надежность, его стиль. Это был их человек – со всеми

его безумствами и моральной строгостью, с его бесчисленными любовницами, с его тягой к самоубийству и любовью к руинам, с его приправленной юмором неизлечимой меланхолией, с его страстью защищать заведомо проигранные дела. Эта их привязанность к нему сохранилась и у меня. Нет, мы отнюдь не были невеждами. Но мы были покойниками. Время нас пережило.

Вот примерно таким, по-моему, был тот мир, в котором мы жили. За без малого тысячу лет он мало изменился. Да ведь мы и не хотели, чтобы он менялся. Однако, хотя мы и витали в облаках, закрывая глаза на то, что нам не нравилось, мы его уже не узнавали. Мы говорили о нем, как говорят об одряхлевшем дядюшке, которого извела неизлечимая болезнь. Переглядываясь между собой, мы покачивали головой и шептали: «Как он изменился!» Мы не исповедовали никакой особой философии, но в глубине души ощущали себя адептами молчания и неподвижности. Про идеи хорошо сказано, что они прокладывают себе путь между людьми. В том подозрительном движении, в котором философы – естественно, социалисты – с удовлетворением видели прогресс сознания, мы, напротив, усматривали какие-то козни, догадывались, что это ведется неторопливый подкоп под фундамент наших храмов. И в ожидании грядущих катастроф продолжали жить своей пустой жизнью. Мы уже ничего больше не ждали. А только пытались, по-прежнему безуспешно, замедлить движение Солнца и времени над нашими головами. Господь, наш Господь отказывал в такого рода чуде новоявленным Иисусам Навинам. Страха мы не испытывали, поскольку после веков мужественной борьбы на полях сражений страх нам был непозволителен. Но между окружающим нас миром и нами образовался разрыв. Дело в том, что весь мир безудержно, смачно и демонстративно предавался непростительному греху: мы остановились, а он продолжал двигаться.

II. Брешь

Однако в самом конце девятнадцатого века, в один прекрасный весенний день современный мир в конце концов все-таки обрушился на наше семейство. Дабы лучше нас соблазнить, современный мир принял облик молоденькой блондиночки, которую заметили герцог Вестминстерский и племянник Василия Захарова не то на балу при английском дворе, не то на благотворительных распродажах, организуемых обычно одними и теми же дамами из высшего общества. Женщины у нас, как импортные, так и идущие на экспорт, красивыми бывают часто. Мой дядюшка Поль – который, если не считать посещений мессы в часовне при замке и верховой охоты на оленя, палец о палец в жизни не ударил – встретил Габриэль совсем как герой романа Октава Фёйе: после четырехчасовой скачки по болотам и зарослям в одном из лесов Солони он остановил на скаку понесшую лошадь, а на ней оказалась в полуобморочном состоянии дочь торговца пушками и апельсинами. Он на ней женился. Она обладала умственными способностями выше среднего, была очаровательна, талантлива и невообразимо богата. Но все это, как оказалось, не имело значения. Наше семейство тут же выразило свое недовольство. Торговец пушками – тоже.

Брак был одним из ключей нашего старого мира. На протяжении многих веков мы женились только на равных себе. Однако со временем становилось все труднее и труднее находить столь же старинные семейства, как наше. Почти все они угасли. Революция славно закусилась несколькими выжившими их представителями, которые еще могли бы надеяться на породнение с нами. Нам пришлось соглашаться на браки внутри клана. Ведь теперь только мы жили так, как мы. И отныне нам нравились только мы. Из-за этого менее чем за два поколения генеалогическое древо семейства стало невероятно запутанным: почти все супруги оказались друг другу кузенами, нередко муж приходился жене дядей или же, наоборот, племянником, часто возникало двойное, тройное, четверное родство, к великой радости выпускников Национальной школы хартий и провинциальных кузенов. Неписанные законы о браке сузили планету и ее обитателей до размеров клана.

Деньги в этих браках не играли большой роли. Главным было происхождение. В наших жилах текла древность. Старинные грамоты семьи ставились выше банковских счетов. Слушая разговоры об акциях и облигациях, мы думали о крестовых походах и феодальном праве. Мы сохраняли старинные традиции, и когда какая-нибудь ветвь племени беднела чересчур, на помощь приходили монастыри, и равновесие восстанавливалось. Церковь, наряду с войнами и микробами, в каком-то смысле тоже участвовала в регулировании деторождений и в уравновешенности семейного бюджета. Об этом финансовом равновесии вслух никто и никогда не говорил. Только революция нанесла ему удар, от которого нам уже не суждено было оправиться. Достаточно беглого взгляда, чтобы узреть одну из тяжелейших катастроф нашей долгой истории. Таковой стала ликвидация права первородства.

Женщины, младшие сыновья, малые дети долгое время служили лишь тому, чтобы увеличивать народонаселение, а затем умирать. Они являлись как бы инструментами, орудиями, частями механизма, в крайнем случае – запасными частями. Смерть дочери или младшего сына никогда не была ужасной бедой. И роженица тоже всегда могла спокойно тут же отправляться в мир иной, если она рожала сына, благодаря которому сохранялось имя. Дочери не играли важной роли, поскольку теряли свою фамилию. И теряли они ее потому, что не играли важной роли. Змий, искусивший Еву, кусал собственный хвост. Женщины и младшие дети существовали лишь для того, чтобы добавлять славы семейству, главой которого являлся старший сын. Только он имел истинное значение, поскольку он продолжал род, который он же и воплощал. Все было организовано так, чтобы именно он владел всеми средствами, находящимися в распоряжении семьи. Когда братья и сестры вдруг перестали умирать или уходить в монастыри,

перестали помалкивать и стали требовать свою долю родительского наследства, семья хирела, умирала, во всяком случае, гибло бывшее представление о семье. В этом случае нам оставалось только заниматься самодеятельностью, чтобы как-то выкрутиться.

Для многих лучшим выходом из положения был выгодный брак. У нас ситуация была немного лучше. Продолжая витать в облаках, мы с презрением наблюдали, как американки, мешанки и еврейки, с их банками, портными и обувщиками, спасали севших на мель потомков коннетаблей и принцев крови. Доходный дом на бульваре Осман и фермы в Верхней Сарте помогали нам как-то держаться на плаву. Появление тети Сары и ее денег внесло некоторое смятение в этот казавшийся ранее неизблемым порядок. Но дядя Жозеф, ее муж и брат моего деда, не был старшим. Все, что он делал, в том числе и его глупости, было отмечено печатью несерьезности. И потом, в этой семье, жившей воспоминаниями, забвение также играло свою роль. Очень старые семьи подобны очень старым людям: они тоже впадают в детство, им тоже угрожает маразм. Впрочем, может быть, он их охраняет. В конце концов мы забыли о происхождении тети Сары. Ее брат женился на девушке из семейства Шатийон-Сен-Поль, а ее сестра вышла замуж за Бурбона-Вандома. В головах у нас смешивались разные поколения, и мы уже более или менее искренне стали считать, что ее отцом был Шатийон-Сен-Поль, а матерью – женщина из рода Бурбонов-Вандомов. В тот момент, когда дядюшка Поль, старший сын моего деда и будущий глава семейства, влюбился в Солони, в очаровательную дочь пушечного короля, наше семейство, изящно смешивавшее постоянство с непостоянством, являло собой, несмотря на потрясения современного мира, небывало единый фронт.

В течение ста предшествующих лет семья Реми-Мишо сделала головокружительную карьеру. К сожалению, только ста лет. И, к сожалению, карьеру. В нашем роду карьеру не делали. Нам все было даровано, причем даровано давно. Еще в колыбели мы получали все, что нужно было для нашей славы. И мы никогда ничего к дарованному не добавляли. Карьера, проделанная на протяжении века или чуть более того, в наших глазах ничего собой не представляла, и само начало ее, кроме подозрений, ничего у нас не вызывало. Она начиналась при императоре, а то и – что еще хуже – во время революции. Альбер Реми-Мишо был равным среди таких, как Шнейдеры, Вандели или Сомье. В свое время он был одним из самых элегантных мужчин. Вместе с Шарлем Хаасом он способствовал появлению у Пруста персонажа по имени Сван. Он возглавлял могучую индустриальную группу, где работали двадцать тысяч человек, и распоряжался нешуточным состоянием. Был он командором ордена Почетного легиона и входил в самые закрытые круги Парижа. Но мой дед запомнил лишь одно: это был республиканец. Более восьми веков наше семейство обходилось без республиканцев и не жалело об этом. А раз обходилось в прошлом, то должно было обойтись и в будущем. Столь долгую и достойную привычку дедушка не собирался бросать из-за случайной встречи с какой-то там посредственной наездницей.

Но было нечто более серьезное. Все знали, что первый из Реми-Мишо, чья фамилия писалась еще без черточки, прежде чем стать министром торговли и общественных работ при Луи Филиппе, ходил в префектах империи. Однако многие забыли, что в возрасте двадцати пяти лет ему довелось оказаться членом национального Конвента. Многие, но не мой дед, отличавшийся превосходной памятью, как на добрые, так и на злые деяния. Где-то между таблицами герцогов, пэров и маршалов Франции он хранил черный список царевичей. Ему не составило труда установить, что 20 января 1793 года Мишо де ла Сомм (Реми) проголосовал за казнь короля. Это стало подобно удару грома в небе Плесси-ле-Водрёя. Маршальские жезлы, парики, качели с дамами и те закачались на старинных портретах и картинах. Даже сорок лет спустя мать все еще рассказывала мне об этом. При мысли, что его внук может оказаться потомком царевича, кровь вскипела в жилах деда. Одно из старейших семейств Франции, состоящее из самых верных приверженцев короля, не заслуживало такого позора.

Впрочем, семейство Мишо, чья фамилия стала писаться Мишо де ла Сомм, потом – опять Мишо, потом уже – Реми-Мишо («Они даже не знают, какая у них фамилия», – говорил мой дед), оставило свой след в истории Франции. Правда, это была уже новая, почти даже современная история. И след этот был липким от крови и денег. Сын трактирщика и фермерской служанки, Мишо де ла Сомм не ограничился тем, что проголосовал за казнь короля. Вскоре он отправил на гильотину еще и своих коллег. Какое-то время он пребывал в тени деятелей вроде Сиейеса, Барраса, Тальена. Первый консул заметил Мишо в интендантской службе, где тот был заместителем Дарю, и он стал префектом сначала Марны, потом Соммы, родного своего департамента, где он добился руки дочери прежнего властителя тех мест. Тогда барон Мишо достиг первой вершины в своей карьере. Находясь в тени Фуше и Талейрана, он тайно готовил вместе с царем Александром и Меттернихом падение Наполеона, которому был обязан буквально всем, и тем самым – возвращение Бурбонов, которых когда-то хотел уничтожить.

Второй апофеоз бывшего цареубийцы случился при Луи Филиппе, сыне его старого сообщника, герцога Орлеанского, члена Конвента и цареубийцы, известного под именем Филипп Эгалите. Король французов учуял хорошего слугу в этом республиканце-монархисте, долго служившем империи. И назначил его министром. В теплое местечко. Министр торговли, потом – общественных работ, барон Мишо разбогател, спекулируя на железных дорогах. Он не решился вернуть себе фамилию Мишо дела Сомм, хотя частица «де» ему льстила и могла бы даже ему пригодиться. Но эта фамилия еще вызывала немало воспоминаний. Он выбрал Реми-Мишо. Ведь черточка почти равняется частице «де». Барон Реми-Мишо своими расчетливо продуманными празднествами украсил лучшие дни орлеанизма. Его сын, Лазарь Реми-Мишо, обосновался в Северной Африке. Так к доходам от промышленности добавились еще и богатства от колоний. Потом еще несколько пируэтов, несколько смут, несколько кровавых дел, и вот уже семья Реми-Мишо оказалась в числе победителей на пиршестве Третьей республики. Они устроились в ней так же уютно, как и при прежних формах правления. Для них были хороши все режимы за исключением тех, что падают. Любили они и революции, когда сами их совершали. Революционер, префект империи, доморожденный Талейран, министр при Луи Филиппе и биржевой спекулянт – в бароне Реми-Мишо нетрудно узнать одного из тех, с кого Клодель списал Туссена Тюрлюра, мрачноватого героя пьес «Заложник» и «Черствый хлеб». Нам же больше нравились персонажи вроде Синь де Куфонтен из тех же пьес. Мы долго были на стороне сильных. Теперь, когда мы сами стали побежденными, наши симпатии переключились на жертв.

Клодель точно заметил: людей типа Реми-Мишо отличают ловкость, нюх на ситуацию, умение поймать ветер истории. Были у Реми-Мишо и семейные традиции, которые состояли как раз в том, чтобы не иметь таковых и благодаря этому не упускать ничего. Они использовали в своих интересах буквально все. Можно сказать, что им на пользу шел сам воздух современности. Они остановили ход революции, затем приручили робкую монархию, оседлали восстановленную было империю, овладели неокрепшей еще республикой. Мы уже давно умерли. А они, ах какими живыми они оказались! Подвижные, активные, сильные, смелые и даже мужественные в своем слабоволии, удивительно умные, непостоянные и изменчивые, они были и послами, и государственными советниками, после того как побывали префектами и министрами. В каком-то смысле Реми-Мишо стали образом Франции. Иным образом. Не нашим. Но все же образом. Причем даже блистательным. Мы же скорее согласились бы погибнуть, чем признать себя в этом образе.

Дедушка называл всех Мишо одним словом: каналы. Они предали короля. Предали Церковь. А потом – предали и врагов короля и врагов Церкви. Но при этом незначительное преступление, каковым явилась измена по отношению к врагам короля, не искупало чудовищное преступление, каковым явилась измена королю. Один друг Реми-Мишо как-то пришел к нам

и стал его защищать. Он сказал, что первый Мишо был одним из двух-трех людей, свергнувших Робеспьера. И услышал такой ответ: «Я расскажу вам в двух словах историю Термидорианского переворота: убийство нескольких сволочей другими сволочами. Вот и всё». Всё то, что создало богатство Мишо: гибкость, приспособленчество, понимание того, что происходит, способность быстро меняться, талант и, возможно, ум, – было нам совершенно несвойственно. Мы не отличались большим умом. И не обладали никакими талантами. Мишо, несмотря на их низость, а может, благодаря ей, были обречены на успех. После стольких веков славы мы стали ценить только поражение. И мы назвали его верностью.

Успех превратился для Реми-Мишо в манию. Они постоянно добивались каких-то выгодных назначений, богатства и блестящего существования. Послу Франции в Баварии, внуку члена Конвента, сыну Лазаря, деду Альбера Реми-Мешо в 1870 году, было поручено принимать Бисмарка в замке Ферьер. Его исключительные способности привели как всегда в восторг всех собеседников, включая «железного канцлера», расхваливавшего его потом в письме Тьеру. Но больше всех дружил он в ту пору с Ротшильдами. Сразу по окончании войны он покинул государственную службу и стал работать в банке, двери которого ему открыли барон Альфонс и барон Гюстав. Через его руки прошли все крупнейшие сделки той эпохи: передача пруссаками пяти миллиардов в качестве военных репараций, финансирование строительства Суэцкого канала, подготовка к строительству Панамского канала. Между 1882 и 1886 годами он стал президентом акционерных обществ, владевших шахтами в Анзене и Мобёже, металлургическими заводами в Риквире и Лонгви. Он участвовал в создании международной компании спальных вагонов и крупных европейских экспрессов. Одним из первых он занялся индустрией туризма. Попутно он продолжал руководить заморскими предприятиями Лазаря Реми-Мишо. Ему же принадлежали простиравшиеся от Феса до Кайруана пальмовые и оливковые рощи, роскошные сады и плантации апельсинов, лимонов и мандаринов. Большая часть торговли африканскими цитрусовыми в метрополии осуществлялась компаниями под его контролем, прямым или косвенным. Как говорил с обычным для него юмором Форен, «пара миллионов фруктов ежедневно» позволяла Реми-Мишо не умереть с голоду. Он мог также добавить, что небольшая война то тут, то там тоже весьма шла ему на пользу.

Может, я по отношению к Реми-Мишо не слишком справедлив? Нет ничего более трудного, чем заставлять слова передавать события, идеи, страсти и чувства. Как ни выразишься, все равно солжешь. Слишком часто нам рисовали Людовика Святого разбойником, Жанну д'Арк – истеричкой, а Сталина – отцом народов, слишком часто терпимость выдавалась за насилие, а насилие – за свободу. Это научило нас с опаской относиться к лукавой силе устной и письменной речи. Я вполне допускаю, что и сам тоже могу ошибиться и изобразить жертву преступником, а преступника – жертвой. Наш век не избавил нас от подобных надоевших людям в прошлом фокусов. Рисовать без искажений портреты людей, правильно описывать их поступки – искусство почти божественное. Во всяком случае, это значительно труднее, чем блеснуть в жанре сатиры или выступить в чью-то защиту. У семьи Реми-Мишо был лишь один бог: успех. Успех, и больше ничего. Но при этом им было ведомо всё, что приводит к успеху. Усилия, неумная трудоспособность, спортивный запал, умение держать удар. Правнуки революционера с равным удовольствием встречали все жизненные превратности – так их воспитали швейцарские няньки и непроницаемые иезуиты. Вынужденные демонстрировать таким образом поколение за поколением чудеса гибкости и ловкости, они в конце концов обрели чувство строгой дисциплины, самую что ни на есть буржуазную честность, непреклонность и даже нечто вроде чести. «Честь! – бушевал мой дед, – честь! Откуда она могла бы у них взяться? Уж не из могил ли в Венсене?»² Однако по мере того, как шли годы (мы

² По-видимому, намек на то, что в Венсенском лесу по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский (1772–1804). – *Прим. перев.*

измеряли время веками, а Мишо – годами), воспоминания об их участии в казни короля и об их корыстолюбии постепенно стирались, а в глаза все больше бросались их трудолюбие, их привязанность к традиции. Теряя что-то в гениальности, они выигрывали нечто в основательности и убедительности. Слово представителя семейства Реми-Мишо стало цениться на вес золота. Дух предпринимательства уступал место моральным ценностям. Они стали, подобно нам, подчиняться смутно понимаемому закону сохранения вида и теперь старались как можно лучше обустроить территорию, захваченную поколениями победителей. Но мы уже находились в конце этой долгой эволюции. А они – в самом начале. Полагаю, что дед мой ставил в вину семейству Реми-Мишо два почти несовместимых друг с другом преступления: то, что они были выскочками, составившими себе состояние на смерти Людовика XVI, и то, что они перестали быть таковыми и сумели сделать так, что все, в том числе и они сами, забыли об их первородном грехе и незаметно слились по образу жизни, по интересам, по взглядам с общественным – впрочем, не только общественным, а этическим, метафизическим и даже мифическим, священным в наших глазах и, как нам казалось, и в их глазах тоже, – классом: нашим классом.

Согласно семейной легенде, примерно в одно и то же время были произнесены две речи в стиле традиционных палинодий, одну из которых держал мой дедушка перед дядюшкой Полем, а другую – Альбер Реми-Мишо перед своей дочерью Габриэль. «Сын мой, – говорил дедушка, любивший время от времени выражаться высокопарным стилем, – вы вынашиваете проект весьма выгодного союза. Но в истории нашей семьи деньги никогда не ценились и никогда не играли никакой роли. Было хорошо, когда их было достаточно и мы могли достойно содержать наш дом. Но когда их не хватало, мы тоже не переживали. Сын Елеазара так и не смог собрать нужную сумму, чтобы выплатить басурманам выкуп за освобождение своего отца. Елеазар обошелся и без них. Он бежал. Пересек пустыни и моря и вернулся, чтобы сражаться под знаменами своего короля. Никогда не были мы так бедны, как в конце XIV века, когда слава наша сияла особенно ярко. С самого начала нашего рода мы раз и навсегда отреклись от денег – ибо они могут принадлежать всем – в пользу чести, которая принадлежит только нам. И честь эта называется верностью. Как только в еще недостроенном здании нашей истории появится хотя бы малейшая трещина, это будет означать, что близок день, когда оно полностью рухнет. Мы уже и так приняли в нашу семью еврейку – так неужели же вы хотите, чтобы мы сюда впустили еще и измену с цареубийством? Если мы отнесемся к смерти Господа и смерти короля как к незначительным грешкам, достойным забвения, то где найдет себе пристанище чистота крови и памяти и что тогда станет с этими ценностями, на которых мы покоимся? Нет ничего более хрупкого, чем честь. Малейший промах, и вот ее уже нет. Верить в равновесие между добром и злом – ужасная иллюзия. Добро разрушается злом, но зло не разрушается добром: оно остается навсегда во времени, подобно несмываемому пятну. Вот почему так важно оберегать честь от любых грозящих ей посягательств. И то, что нашу фамилию понесут через века потомки цареубийц, причиняет мне нестерпимую боль. Тысяча лет чести и верности превратится мгновенно в прах. Неужели вы не понимаете (вы, наверное, уже заметили, что дедушка обращался к своим сыновьям на «вы»), что наше представление об истории и о мире теперь находится в ваших руках? Каждый из нас – лишь одно звено в длинной цепи. И горе тому, чья подмоченная репутация ослабит всю цепь! Каждый из нас – ничто. Ценность представляет только семейство в целом. Настанет день, когда мы передадим в целости тем, кто придет после нас, унаследованную нами честь, пронесенную через века незапятнанной нашими предшественниками. Не давайте ни страстям, ни корысти в один миг опорочить накопленную за столько веков порядочность».

В то же самое время Альбер Реми-Мишо с несколько пошловатой интонацией говорил своей дочери нечто в таком вот роде: «Ну не пойдешь же ты замуж, милая Габи, за этого парня? Понимаешь ли ты, что все они фанфароны и бездельники? У меня нет сына. И мне нужен такой зять, который мог бы достойно сменить меня. А твой недоросль Поль совершенно для

этого не годится. Он может охотиться, это у него не отнимешь. Но вот работать, это увольте! Что вы! Мне не нужен специалист по генеалогии и псарь, который только и умеет, что трубить в охотничий рог. Мне нужен парень, умеющий командовать людьми и машинами. Наверное, они умели командовать людьми, когда-то в былые времена... Но всё с тех пор потеряли и забыли, поскольку ничего не делали и только воображали себя превыше всех. А что касается машин... Если уж не инженера или финансового инспектора, то я предпочел бы скорее заполучить мастера или рабочего, человека растущего, а не спускающегося вниз. А они вот уже восемьсот лет только и делают, что движутся по нисходящей, строго сохраняя преемственность, согласен, но все же по нисходящей... И еще при этом позволяют себе презирать нас! Ну, ну! Не плачь... Так уж тебе хотелось стать герцогиней? Конечно, с твоей внешностью ты была бы самой красивой среди этих старух, которые собираются в их салонах... Привнесла бы немножко свежей крови этим выродившимся маньякам... Ну, ну! Не плачь... И не думай о нем... Знаешь что? Давай-ка съездим вместе в Венецию, в Зальцбург, в Нью-Йорк?..»

Через полгода дядя Поль женился на тете Габриэль, только что вернувшейся из Нью-Йорка. Дело в том, что на этом этапе истории тех слоев общества, о которых я пытаюсь рассказать, появилась новая сила. Это была любовь. Любовь всегда играла определенную роль в истории человека. Обнаруживалась она и в христианских браках. Правда, скорее как следствие, а не как причина. Она не играла большой роли в формировании семей, режимов, того или иного общества. Она больше их разрушала. Луи Расин, расхваливая в «Воспоминаниях о жизни и творчестве Жана Расина» брак своего отца, замечательно написал: «Ни любовь, ни корысть не имели никакого отношения к его выбору». В наши же времена, вот уже полвека, тесно переплетаясь с замаскированной материальной заинтересованностью, любовь активно вторгается в экономические и общественные комбинации промышленной буржуазии. В мир машин и механизмов проникли грезы. Огромные равнины покрылись заводами и фабриками, леса оказались вырубленными, горы и моря – покоренными и засоренными, но любовь, впрыснутая в общество романтизмом начала девятнадцатого века, продолжала свое триумфальное шествие, играя роль противовеса миру техники. Человека окружили всякого рода машины, автомобили, средства коммуникации, реклама, но он остался способным испытывать страсть. Какое облегчение! Любовь стала реваншем и оправданием природы в мире, понявшем это и устыдившемся при мысли о механическом своем будущем. Миф любви обогатил кино, песни и литературу, стал еще одним, настоящим, опиумом для народа, а затем в конце концов превратился в оружие религиозной и политической борьбы, которое принималось в расчет матерями семейств и промышленными магнатами. Кстати, чаще всего чувства обнаруживали здравый смысл и покладистость. Браки по расчету помогали создавать государства, раздвигать границы провинции, приобретать состояния. Одна из побед буржуазии заключалась в том, что она научилась регулировать, сдерживать и контролировать любовь. Как это ни странно, но у буржуазии в ее сказаниях и легендах даже Тристан и Изольда никогда полностью не теряли чувства меры и общественной среды. В романах особо подчеркивалось губительное влияние страстей, говорилось об их роковых последствиях – достаточно вспомнить судьбы Матильды де ла Моли или Анны Карениной. Однако я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из семьи Реми-Мишо влюбился в негра, в батрака, в профессионального безработного, в профессиональную проститутку или в уголовника. Можно было опуститься до сельского врача, до манекенщицы, до актрисы, до разведенных, но никак не ниже. Все пастушки, на которых женились принцы, становились своими в новой среде. У сердца были свои аргументы, и разум с ними соглашался. Он ограничивался тем, что соединял тех, кто подходил друг другу, и разрушал только самые уязвимые барьеры и предрассудки, которые и без того готовы были рассыпаться в прах и исчезнуть. Нотариус мог жениться на дочери помещика, сын профессора-радикала – на дочери полковника-католика, еврейка могла выйти за протестанта, дочь франкмасона – за племянника архиепископа, а моя семья – породниться с Реми-Мешо. И каждый раз можно было биться об

заклад, что разум знал, что творил. И он действительно знал. Время великих потрясений еще не пришло. Я подозреваю, что мой дед и Альбер Реми-Мешо скоро и сами поняли, возможно, поняли с легким сожалением, но смирились, что, несмотря на свои противоположные взгляды на мир и на людей, они были просто обречены заключить союз. Они еще вели арьергардные бои, но в глубине подсознания у обоих уже созрел проект мирного договора, уже мысленно составлялся контракт к нему. Семья коннетаблей и маршалов Франции нуждалась в деньгах, а дети цареубийцы – в славе, слегка покрытой пылью веков, вроде той, что лежит на старой и ненужной мебели где-нибудь на чердаках фамильных замков. На историческую сцену выходили новые классы. Пора было объединяться. Вхождение в мое семейство республиканской буржуазии возвещало начало новой, не любящей жеманства эпохи. Надо было создавать нечто вроде священного союза или национального фронта, во имя сохранения привилегий. Нашим вкладом были замок, старинное имя, пара-другая привидений, воспоминания о славных былых победах, поэтическое воображение да еще герб, который когда-то рисовали на карете. А Реми-Мишо вносили в общую копилку ум, труд, отличное положение, деньги. С одной стороны, престиж прошлого, с другой – многообещающее будущее. Ограниченные люди скажут, что тут встретились всего лишь снобизм, с одной стороны, и материальная заинтересованность – с другой. Я, правда, надеюсь, что мне удалось показать, как эта семейная хроника развивалась все-таки более сложным путем. Хотя, глядя со стороны, можно, конечно, сказать, что в данном случае сочетались браком страсть и общественное положение. Моя бабушка, о которой говорили, что она когда-то вышла замуж не столько за дедушку, сколько за его убеждения, умерла от горя, не прожив после этой свадьбы и трех месяцев. Ее преждевременная смерть не удивила семью, ибо бабушка сама предсказала ее. Добрый доктор Соважен, семейный врач, увидев иссохшее, измученное лицо и заплаканные глаза бабушки, замкнувшейся в молчании, шепнул на ухо деду не то с вопросом, не то с упреком: «Если бы ей было двадцать лет, я подумал бы, что она умирает от любви». И он был недалек от истины. Дед и бабушка были тут ни в чем не повинны и сохранили свои патриархальные нравы во всей их чистоте, но при этом именно любовь, с нашей точки зрения недостойная, свела старушку в могилу. А полгода спустя в Плесси-ле-Водрёе, как и следовало ожидать, родился будущий глава семьи, потомок двух канонизированных святых и трех банкиров, потомок Елеазара и цареубийцы, потомок многочисленных герцогов и пэров по линии отца и многочисленных безвестных людей по линии матери. Назвали его Пьером. Так звали двух маршалов Франции при Карле IX и при Генрихе III. И одного капеллана при Людовике XVI.

III. От сына Тараса Бульбы до пышек настоятеля Мушу

Опасности, угрожавшие нашим традициям и мифам, всему зданию, оказавшемуся более хрупким, чем мы полагали, исходили не только изнутри, связаны были не только с перипетиями личной жизни и увлечениями нашей молодежи. Само правительство – надо было слышать, как презрительно произносили мы это ненавистное слово из четырех слогов, – делало все, чтобы разрушить наш мир с помощью разных выборов, немыслимых декретов и всевозможных учреждений, по поводу которых члены нашей семьи высказывались, не жалея эпитетов. Презируя наши привилегии, Республика придумала несколько ужасных механизмов, дабы разрушать наши устои и унифицировать общество. Таковыми стали всеобщие выборы, обязательная воинская повинность, образование для всех. В этом, становящемся все более враждебным мире, где представление о нашем естественном превосходстве подвергалось интенсивной критике, спасение виделось нами только в самоизоляции. В конце концов мы оказались единственными, кто еще в нас верил. Поэтому мы жили в узком кругу, охотились только со своими, женились только между собой. Нас называли гордецами. А мы были просто застенчивыми. Мы боялись других. Боялись будущего, ибо оно было противоположностью прошлого. Мы закрывали за собой все двери, ведущие во внешний мир, ставший слишком большим для нас и для наших чаяний, связанных с воспоминаниями. Школа и армия заставляли нас открывать эти двери.

Воинскую службу переносить было легче. Нам было проще общаться с офицерами, чем с преподавателями, с сержантами – чем с учителями, с солдатами – чем со студентами, с генералами – чем с профессорами, с учеными, с лауреатами Нобелевской премии по физике, по литературе, с теми, кто получил таковую, борясь за мир. Давняя привычка сближала нас с военными. Мы были и шуанами, и эмигрантами, и просто «бывшими». Но при этом всегда чувствовали себя ближе к противникам в военной форме, чем к сторонникам в гражданском. Боевое братство объединяло нас с республиканской армией, даже когда мы находились в противостоящем лагере. Нам были по душе ее порядок, ее иерархия, ее мощь и элегантность. Это были не наш порядок и не наша иерархия. Не наша мощь. И не наша элегантность, естественно, ни с чем не сравнимая. Мы не унывали в беде, и мой дед, случалось, приглашал в Плесси-ле-Водрёй отобедать или принять участие в охоте генералов, полковников, капитанов совершенно незнатных фамилий, но чьи взгляды, открыто высказываемые или тайные, были близки нашим.

Под высокими сводами салонов, в окружении портретов герцогов, пэров и маршалов, беседа текла, избегая двух опасных тем, затрагивать которые не решались даже самые смелые из них, новички, горячие головы, молодые лейтенанты, удерживаемые тайным инстинктом, двух тем: знамени и «Марсельезы». Разумеется, мой дед остался верен белому флагу, а все офицеры, его окружавшие, служили под трехцветным знаменем. Представляете себе, какое воздействие оказывали на старого монархиста слова национального гимна, который, кстати, он часто притворно путал то с «Карманьолой», то, в насмешку, с «Фарандолой» или с маршем тореадора из оперы «Кармен». Позднее, много позднее, когда молодежь нашей семьи, о которой пойдет речь ниже, стала плевать на бывшее знамя и насвистывать «Марсельезу», я поймал себя на мысли, одновременно и печальной, и забавной, что вспоминаю о моем дорогом дедушке, который в свое время некоторым образом проложил им к этому дорогу.

Армии в нашей среде было суждено играть все большую роль. Мы с восторгом открывали для себя, что в ней сохранились кое-какие отблески старого режима. Только ведь и остались в напоминовение наших былых добродетелей, что армия и Церковь. Они по-прежнему словно напевали нам на ушко, в странно завуалированной форме, прежние мотивы. Когда страну стало раздражать «дело Дрейфуса», мы горячо выступили, сами понимаете, на чьей стороне, и вовсе не из-за маниакального антисемитизма, как думают поверхностно мыслящие люди, а только

затем, чтобы защитить армию. В роли врага случайно оказался еврей. Что мы могли тут поделать? Мы даже и не утверждали, что именно он виноват. У нас же было так мало сведений. Мы полагали, что речь идет вовсе не о том, виноват он или нет. Мы просто считали, что перед обществом индивидум должен отступить. Просто ему не повезло. Во Франции уцелели в ту пору только две иерархические системы: Церковь и армия. И вот некий безвестный капитан, не слушая увещаний, стал упрямо бороться, попытался разрушить самую прочную из наших традиционных систем, под смехотворным предлогом, что он не виноват. «А те, кто жизнь отдал? – говорил мой дед. – Те, кто с гордостью погиб на поле брани, разве они были не такими же невинными? Капитан Дрейфус должен был бы вести себя перед военным трибуналом как офицер при исполнении задания». И вот мы начали опять отдавать приказы французам. Дело Дрейфуса незаметно втянуло нас в споры о жизни общества, от которых мы раньше демонстративно самоустранялись. Это возвращение из внутреннего изгнания, к сожалению, получилось не слишком удачным. Приказы не были исполнены. Мы опять выбрали не тот лагерь. Над нами висело проклятие: после смерти короля, что бы мы ни делали, нам ничто не удавалось. Во вред ли нам или в нашу пользу следует добавить, что майор Мари Шарль Фердинан Вальсен Эстергази, наш дальний родственник, находился в родстве с Галантами, с Франко или Форхтенштейнами, с Сездеками, Золиомами, потомками принцев Священной Римской империи, то есть с семействами, корни которых восходят к Крестовым походам, а может, и к Аттиле, с семействами, имевшими испокон веков право на титулы «Светлейший» и «Высокородный». Его долги нас мало смущали. Кстати, он как-то провел пару недель в Плесси-ле-Водрёе и довольно резко высказывался о своем товарище Альфреде Дрейфусе. Ему не нравился его взгляд, его голос, и вообще он был о нем невысокого мнения. И только через десять или двенадцать лет мы узнали, что майор Вальсен Эстергази был потомком наших кузенов лишь по женской линии. Последняя из французских представительниц рода Эстергази во время революции прижила незаконнорожденного сына от Жана-Сезара, маркиза де Жинесту, деда майора. Она воспользовалась беспорядком, царившим в то время, и записала сына под знаменитой фамилией Эстергази. Никто так и не сумел окончательно убедить моего дела в том, что виноват в скандальном деле был именно Эстергази. До самого конца жизни у него оставались сомнения. Однако он испытал некоторое облегчение, когда узнал, что майор носил фамилию Эстергази не совсем законно. Утешение слабое. Но в его глазах более чем значительное.

С делом Дрейфуса возвращения к практической жизни у нас не получилось. Зато получилось несколько позднее в связи с другими обстоятельствами. Такую вторую возможность нам опять предоставила армия. Кто говорит «армия», подразумевает «войну». А уж в этом деле мы были компетентны. И вот после очень долгой ссоры война вновь бросила нас в объятия Франции. Конечно, мы предпочли бы воевать вместе с Германией – где у нас было столько родни – против Англии и особенно против Соединенных Штатов, где мы почти никого не знали. Но мы начали понимать, что наше мнение мало кого интересует. Да и к тому же мы сражались в союзе с царем и святой Русью. Это было хоть каким-то утешением. Ну, и пора было, наконец, привыкать смиряться с обстоятельствами. На фронт мы отправлялись даже с чем-то вроде энтузиазма, вызванного, возможно, в некоей мере убийством Жореса.

Нетрудно понять, что заставляло нас выступать против страны, во многом для нас близкой. Нас вел к рубежам родины один из древнейших рефлексов нашей многовековой истории: собирание земель. Нам был гораздо ближе двор короля Пруссии и императора Германии, с его штабом, состоявшим из баронов и князей, с его пышной военной формой, чем наш режим адвокатов и ветеринаров. Нам лучше дышалось в древних башнях на берегу Рейна, чем в кабаках Марны, нам ближе были тевтонские рыцари, чем игроки в шары или рыболовы с их удочками. Но каски с острым шишаком, длинные кожаные шинели, меховые шапки с изображением черепа на них бледнели, когда возникали другие, более заманчивые картины: синие дали Вогезов, их леса, горы и долины. Мы веками жили затем, чтобы завоевывать земли. Мы про-

шлись по Востоку, по Италии, по берегам Рейна, по Центральной Европе, движимые страстью к земле. Эльзас и Лотарингия были для нас столь же священны, как и фермы Центрального массива, Русеты или Руаси. Франция была большим земельным владением, и мы существовали для того, чтобы расширять его границы. Падение Наполеона III не очень нас огорчило, а вот потерю земель, собранных нашими королями, мы тяжело переживали. Республика пленила нас потому, что даже в напудренных париках или в латах, даже в замках или в Версале, даже с нашими охотничьими угодами и псарнями – и несмотря на наши мечтания, а иногда и благодаря им, – мы, тем не менее, всегда оставались крестьянами.

У моего деда брата убили на Марне, одного племянника – на Сомме, другого – в Дарданеллах, двух сыновей – под Верденом, а третий был ранен под Эпаржем и убит на Дамской дороге: то был мой отец. Ему было тогда тридцать пять лет, а мне – чуть больше четырнадцати. Он вроде бы втайне был на стороне Дрейфуса и вроде бы очень хотел жить. Но его взгляды и сама его жизнь не имели большого значения, поскольку он не был старшим и поскольку он носил нашу фамилию, что и оказалось самым существенным. Почести и привилегии не создают таких прочных связей, как жертвы и траур. Благодаря смерти своих сыновей наша семья возвратилась в историю Франции, ставшую было для нас за последнюю сотню лет чужой страной. Вокруг нас вполголоса, но с гордостью говорили, что то один, то другой герой из нашей семьи напильником стирал со своих медалей слово «Республика» и изображение Марианны: умирать за них мы были согласны, но носить на груди отказывались. Ну да это не столь важно. Менее чем за четыре года дедушка прошел в шести похоронных процессиях, а затем присутствовал вместе со всей семьей на параде победы. Г-н Пуанкаре и г-н Клемансо пожимали ему руку. Никогда еще не видели мы так близко радикал-социалиста, активного борца крайне левого крыла республиканцев, пусть даже и образумившегося. Дедушка оставался монархистом, но теперь он стал любить Францию. Говорят, что некоторые даже видели, как он приветствовал трехцветное знамя и вставал при звуках «Марсельезы». Он смирился с гибелью своих детей не потому, что любил отечество. Но гибель сыновей примирила его с отечеством. «Надеюсь, – сказал он г-ну Дебуа, – я не становлюсь социалистом».

Нет, он не становился социалистом. Мало того, он с удивлением обнаружил новое лицо социализма: большевизм в России. В 1912 или 1913 году к нам в Плесси-ле-Водрёй приезжал дядюшка Константин Сергеевич, занимавший высокий пост при дворе, являвшийся председателем земства в Крыму, владевший двадцатью или тридцатью тысячами душ, которым он, кстати, сам дал вольную, владевший также бесчисленными отарами овец, числа которым он не знал и сам. Он заказал для себя, семьи и свиты два вагона, неслыханно роскошные по тем временам, которые прицепляли к разным поездкам, пересекавшим Европу, побывал в Вене, Мариенбаде, Баден-Бадене и оказался в Ницце, где всегда было много русских и англичан. Там он снял на полгода, разумеется с октября по май, целых три этажа в самом большом отеле города: второй этаж – для прислуги, третий этаж – для него и его семьи, а четвертый этаж оставался пустым, чтобы не было никаких шумов. Дядюшка Константин Сергеевич был вылитый генерал Дуракин, главный персонаж одноименного произведения. Ничего удивительного: графиня де Сегюр, урожденная Ростопчина, наша тетушка, создавая портрет своего героя, ворчливого добродетеля, вдохновлялась внешностью деда дядюшки Константина, князя Александра Петровича.

Богатство Константина Сергеевича было баснословно. Его щедрость, его беззаботность и безумное расточительство – тоже. Он не имел ни малейшего представления о размерах своего богатства и раздавал танцовщицам, парикмахерам и горничным изумруды и бриллианты, которые нынче украсили бы любую коллекцию, любой государственный музей. По странному стечению обстоятельств дядя Константин был в наших глазах отъявленным либералом. У представителей русской ветви нашего семейства складывались странные отношения с домом Романовых. В 1825 году наши родственники были замешаны в заговоре декабристов против императора

Николая, и некоторые из них были сосланы в Сибирь, а впоследствии именно нашей семье были обязаны своим спасением многие революционеры, социалисты и анархисты. В просторных салонах замка Плесси-ле-Водрёй вспыхивали бесконечные споры между дедом, легитимистом, и дядей Константином, преклонявшимся перед Англией и философами-либералами, перед конституционной монархией и режимом Луи Филиппа. Мы были за царя, а он защищал поляков. Он был за Мирабо и Тьера, упорствовал в восхвалении Талейрана. Мы же их терпеть не могли из чувства верности к традиционной монархии, которая еще царила в его стране и которую он пытался направить в сторону либерализма и чуть ли не демократии. Дедушка и он любили друг друга, но сходились только в одобрении франко-русского союза, имеющем, правда, у того и другого совершенно различные корни: русский родственник восхищался республикой, а мы – самодержавием.

Когда в 1917 году несчастный Керенский поколебал режим Романовых, дедушка разгневанно воскликнул: «Опять Константин натворил что-то!» Через несколько месяцев мы узнали – и весть эта до сих пор остается для нас кровоточащей раной, – что в Крыму уничтожены все, кто носил нашу фамилию. Князь Константин, его жена и его шесть детей, его семь внуков, его братья и сестры, двоюродные братья и человек десять прислуги были расстреляны у края могилы, которую их же самих заставили выкопать. Начали с самых маленьких, с двухмесячной Анастасии и полуторагодовалого Александра. Дядя Константин видел, как падали в лужи крови его родные, и умер последним, вместе со старым кучером, которого мы прозвали Тарасом Бульбой и который четырем или пятью годами раньше, в своей кучерской крылатке с широким кушаком и меховой шапке, производил на нас в Плесси-ле-Водрёе большое впечатление. От русской ветви нашего семейства остался в живых только один кузен, лишь потому, что оказался проездом у нас. Впоследствии, возможно, из унаследованной от предков любви к униформе и каске, он стал капитаном пожарной команды.

Последние слова князя были обращены к моему деду, которого он нежно любил, несмотря на их споры, и к свободному русскому народу: «Передайте Состену, что не все потеряно, что великая и сильная Россия возродится и что имя будущего – свобода». «Вот к чему приводит либерализм», – вроде бы прокомментировал мой дед.

Больше года получали мы об этой трагедии только обрывочные и противоречивые слухи. От расправы уцелел только сын Тараса Бульбы. Ему удалось бежать и спрятаться, а потом добраться до Константинополя. В конце весны 1919 года он приехал в Плесси-ле-Водрёй. В тот вечер в замке устраивали торжественный обед и бал, первый после траура по погибшим на войне. Дедушка как раз только что пригласил на вальс одну из кузин д'Аркур или Ноай, когда дверь зала распахнулась и вошел господин Дебуа, а за ним появился грязный, взлохмаченный юноша в отрепье. То было явление самой истории, которую мы не узнали: слишком далеко отошли мы от нее, слишком ослабили некогда тесные связи между ней и нами. Оркестр замолк, наступила тишина. Дед недовольно повернулся к интенданту с немим вопросом. Тот пробормотал несколько слов и отступил за спину незнакомца. Борис выступил вперед, поклонился и быстро заговорил с сильным славянским акцентом. Пораженные присутствующие замерли, обступив юношу в том самом зале, где еще совсем недавно так шумно веселился дядюшка Константин. «Господин герцог, – сказал юноша, – князь погиб. Он велел мне сказать вам, что не все еще потеряно и что у будущего название – свобода». Необычными были эти слова, прозвучавшие в Плесси-ле-Водрёе. Нужна была великая катастрофа, чтобы осмелиться произнести их в присутствии деда. Сын Тараса Бульбы оказался мальчиком удивительно смелым и умным. Дедушка обучил его французскому языку и дал денег для продолжения учебы. Результаты оказались блестящими. Менее чем за двадцать лет он стал одним из крупнейших физиков своего времени. Работал с Луи де Бройлем и Жолио-Кюри, а в 1961 году сын Тараса Бульбы, профессор Колледжа Франции, командор ордена Почетного легиона, был единогласно избран членом Академии наук. Если бы дедушка дожил, он наверняка был бы удивлен, взволнован и поражен

новыми временами, которые, кстати, и сами уже стали проявлять явные признаки одышки и истощения. Смелость и новшества, которым мы не переставали удивляться, уже погружались в прошлое. А через два или три года, накануне своей отставки, Никита Хрущев пригласил в Москву делегацию Французского Института. В числе других поехал и Борис. Его радушно приняли его бывшие земляки. Они вместе пили водку, поминая Ивана Грозного, Петра Великого, товарища Ленина и вместе проливали горячие и сладкие слезы по поводу судьбины старой России. Чтобы помешать моему дедушке размышлять об истории, Всевышний в своей великой благодати призвал его к себе.

Великая Первая мировая война привела не только к примирению моего семейства с Францией и к падению Российской империи. Она привела также к распаду другой монархии и династии, всегда игравшей важную роль в истории нашей семьи: династии Габсбургов и Австро-Венгрии. Ненавидя орлеанистов, мой прадед, чтобы не служить Луи Филиппу, во время июльской монархии в течение четырех лет носил белую униформу австрийской армии. Он жил, тогда в роли оккупанта, в Венеции, где влюбился в итальянскую графиню, чей готический дворец возвышался над Большим каналом, между мостом Риальто и площадью Святого Марка, почти напротив академии. Его романтические приключения вдохновили, уже в наши дни, Лукино Висконти на один из его знаменитых фильмов, «Чувство», где в персонаже любовника Алиды Валли выведен отец моего дедушки.

Австро-Венгрия, подобно России и Германии, тоже была страной, где мы чувствовали себя как дома. Для нашего семейства, как и для Талейрана, чьи взгляды мы в общем и целом разделяли. Австрия была еще палатой пэров Европы. Крах ее поверг нас в ужас. То, что появилось на ее развалинах – Чехословакия, новая Венгрия, огромная Югославия, – было нам абсолютно чуждо. Святое неведение порой идет дальше компетентности и таланта. Дед мой, ничего не знавший, предсказал грядущие в недалеком будущем катастрофы: крушение Срединной империи в Китае, крушение Двуглавой монархии и всего того мира, ушедшего в небытие, который столько раз сражался против славян и турок, справлял столько праздников под знаком двух согласных, так нами любимых: «K und K – Kaiserlich und Königlich», – императорский и королевский. Вместе с Габсбургами погибла частица нашего сердца и нашего прошлого. Вместе с тем война помогла нам вновь найти Францию, наше отечество. Она же была причиной потери трех других родных стран: Германии, нашего поверженного противника, святой Руси, утонувшей в крови, и Австро-Венгрии, разорванной в клочья. Победы в еще большей мере, чем поражения, способствовали исчезновению любимого нами мира. История, так долго помогавшая нам, перестала быть нашим союзником.

Но было и нечто похуже. Мы так любили прошлое, что охотно согласились бы отказаться от настоящего и будущего, если бы нам сохранили хотя бы память о прошлом. Республика отняла ее у нас путем введения обязательного обучения. Уже само обязательное начальное образование для всех достаточно раздражало нас, потому что могло сокрушить дорогие нам барьеры между кастами. Однако оно нам не нравилось еще и потому, что не только дети других сословий должны были ходить в школу, но также и наши собственные. В отличие от буржуазии, мы вовсе не дорожили образованием ни для чужих, ни для своих детей. Веками мы видели мир таким, каким хотели его видеть, и он подчинялся нашим законам. А тут писаки-лицеисты, профессора-радикалы и интеллигенты-социалисты захватили этот мир и заставляли нас приспособляться к их меркам и правилам, прежде чем выпустить нас в жизнь. «Не знаю, – говорил мой дед, – какое будущее ждет моих детей. Но хотелось бы хотя бы прошлое оставить им таким, какое мне нравится». Однако на горизонте, долгое время таком чистом, окрашенном в цвета верности и чести, уже забрезжили новые ценности, к которым мы не были подготовлены: правда и свобода.

Свободу мы ненавидели. Мы ее ни во что не ставили. Для нас она была связана с бунтом, с правом выбирать, с индивидуализмом и анархией. Пока власть была в наших руках, мы

относились к свободе с недоверием и презрением. «Что касается терпимости, то для нее есть специальные дома», – любил повторять мой дед. Только под сильным давлением либералов и социалистов мы бывали вынуждены тоже, в свою очередь, ссылаться на столь ненавистную нам свободу. Нам по-прежнему было трудно признать ее в качестве принципа. Мы апеллировали к ней лишь из тактических соображений. Я слышал, что это именно моему делу принадлежит знаменитая фраза: «Я требую свободы во имя ваших принципов и отказываю вам в ней во имя моих принципов». Мы немного стыдились прибегать к демагогии и к свободе в наших попытках вернуться к истинным источникам незыблемого вечного и как бы лишь ненадолго нарушенного порядка. Но только вот разве был у нас выбор? В извращенном мире, где все пошло прахом, мы пользовались свободой лишь для того, чтобы восстановить власть. Поскольку заблудшие овцы своим количеством, силой и хитростью навязывали нам нестерпимую терпимость, приходилось пользоваться свободой, чтобы восстанавливать истину в море лжи.

Свобода была вопросом тактики. Истина же ставила много других проблем. Полагаю, что их можно свести к одной провокационной формуле: истина – это мы. Боюсь, что я немного преувеличил. Скажем иначе: она принадлежала частично Богу, а частично нам. С самого начала этих воспоминаний о временах минувших две области, два созвездия, два коктейля из реальности и мифов смущали меня одновременно и своим мощным присутствием, и своей двусмысленностью. Я не говорю здесь ни о нравах, ни о честности, ни об уме, ни о любви к людям. Все это изменилось, но мы чувствовали себя уверенно в более или менее однородных системах, где нам было легче чувствовать свое превосходство. Что сегодня труднее всего объяснить, поскольку нам и раньше тут не просто было разобраться, так это наши взаимоотношения с деньгами и с Богом. О деньгах я уже говорил, и к этой теме мы еще вернемся. Поговорим же сейчас немного о Боге.

Мы не были чрезмерно набожными. Слишком много мы знали пап, кардиналов, епископов, равно как и святых, слишком много их вышло из нашей среды, и поэтому мы смотрели на них с некоторой долей фамильярности. Эта фамильярность не мешала нам относиться к ним с уважением, почтительностью, преклоняться перед ними. Однако она предполагала сообщничество, некое соучастие в существовавшей системе и ее порядке. Мы уважали короля, поскольку он уважал нас. Мы уважали святейшего Папу Римского, поскольку он и собор кардиналов уважали нас. Мы были на равных. Между Церковью и нами, между Богом и нами существовали пакты о взаимопомощи. Мы были старшими сыновьями Церкви, помазанниками Господа. Все они нас защищали. В обмен мы их тоже защищали. Не хочу сказать, что это были отношения «ты – мне, я – тебе», ибо мы все же заранее и безоговорочно вверяли себя всем предписаниям Божественного провидения. Впрочем, в момент величайших катастроф становилось очевидным, что Церковь выделяла нас из толпы, относилась к нам иначе, чем к тем, кого презрительно называют паствой. Мы не смешивались с простыми прихожанами. Я не посмел бы сказать, что Господь стоял на одном уровне с нами, что он был нашим партнером, и уж тем более я бы не сказал, что он был нашим клиентом в римском значении этого слова, персоной, пользующейся нашей поддержкой. Нет. Конечно же, нет. Но он был у нас в долгу.

Однажды, будучи проездом в Риме, матушка моего деда должна была получить причастие из рук Папы Римского. За несколько минут до начала мессы некий кардинал сообщил ей, что Папа то ли болен, то ли занят, точно не знаю, но что старейшина собора кардиналов готов дать ей причастие. Прабабушка отказалась со словами: «Для нас или Папа, или ничего».

Оставили след в нашей истории и взаимоотношения монархии с иезуитами, и галликанство, и янсенизм, и соперничество Боссюэ и Фенелона, и борьба Филиппа Красивого с тамплиерами, и оскорбление в Ананьи, где объявили о пленении Папы Бонифация VIII. А также святая Клотильда, обратившая в христианство своего мужа, короля франков, Хлодвиг I, дуб Людовика Святого, папские зуавы, обращение аббата Ратисбонна на похоронах дядюшки Аль-

бера де Ла Ферронэ в Сан Андреа делле Фратте. Все оставляло на нас своей след, будто на бархате или на очень ветхой ткани. Не было такого прошлого – французского, католического, римского, – которое бы не оставило на нас своей неизгладимой печати. Преобладал то один из них, то другие. Кое-кого из представителей нашего семейства угораздило впасть в неистовую религиозность, в мистицизм, в святошество. Иные отклонялись скорее в сторону Вольтера. Этот последний, в отличие от Руссо или Дидро, не попал в черный список французских литераторов. Некоторые из наших, например мой двоюродный прадед Анатолий, очень ценили Вольтера, в том числе и за его антиклерикализм. Но большинство не впадало в крайности. Элегантность и верность обязывали. Мы любили Бога, поскольку он явно любил нас больше, чем других. Ведь было бы крайне невежливо не обнаруживать чувства благодарности к тому, кто издревле так много делал для нас! Быть может, за нашей верностью Папе Римскому, за бесчисленными поцелуями, которыми мы усыпали перстень архиепископа, за воскресными обедами с настоятелем Мушу скрывалось хотя и смутное, но очень давнее опасение, что Бог станет меньше любить нас, если мы будем меньше любить его слуг. И именно благодаря тому, что Елеазар избежал неволи у нехристей, благодаря тому, что единственный мужчина в семье не погиб под Азенкуром, благодаря тому, что двое из наших избежали гильотины, чего оказалось вполне достаточно, чтобы продолжить род, благодаря тому, что наш род стал пользоваться Господней милостью раньше Бурбонов, настоятель Мушу по воскресным вечерам обжирался нашими пышками под малиновым соусом, одновременно и легкими, и жирными, а посему нравившимися ему превыше всего остального. К концу своей жизни настоятель Мушу мне сам рассказывал, что, когда нашу семью постигало несчастье, например когда пришла в дом тетя Сара, когда женился дядя Поль, когда погиб под Верденом дядя Пьер, а на Дамской дороге погиб мой отец, вместо пышек под малиновым соусом по воскресным вечерам подавались на протяжении нескольких недель довольно безвкусные фруктовые салаты. Настоятель был уверен, и, возможно, он был прав, что это изменение в меню было своего рода мстью. Быть может, наказывая настоятеля, мы наказывали Господа за то, что тот покинул нас. Когда дела налаживались или когда забвение притупляло боль, наше благочестие вновь одерживало верх. Мы прощали Господу Богу. Мы лобызали наказавшую нас руку. И настоятель Мушу вновь получал свои пышки.

Разумеется, мы никогда не переставали воздавать соответствующие почести самому Господу Богу. Мессы, вечерни, крестные ходы, шествия 15 августа или в день Тела Господня, почитание Богоматери – «Аве, Мария»... или «Месяц Марии, месяц май, самый прекрасный из всех...» – являлись такой же частью нашей жизни, как псовая охота и семейные портреты. Но дело тут было не в набожности или не только в набожности. Это была парадная сторона нашей жизни. Мы показывали пример другим. Пример играл в нашей жизни парадоксальную и важнейшую роль. Парадоксальную, поскольку мы не трудились. А важнейшую потому, что мы делали все лучше других. Все смотрели на нас. Подражали нам. То, что делали мы, было хорошо. А то, что мы не делали, было плохо. «Ведите себя достойно. На вас смотрят» – таков был лейтмотив, передаваемый детям из поколения в поколение. Мы были возможно гордцами? Я не уверен в этом. Мы были, скорее, людьми скромными, придавленными грузом своего величия. И Бог был частью этого величия. И этой придавленности. Опускаясь перед ним за колени, мы становились еще величественнее. Что касается смирения, то тут мы не боялись никого. Мы падали в прах, а Господь, распознавая своих, брал нас за руки и возносил до себя.

Многие в своих суждениях о нас очень и очень ошибались. Они обвиняли нас в лицемерии. Но лицемерить – это значит притворяться, маскироваться, выставлять напоказ чувства, которые не испытываешь, и скрывать истинные свои чувства. Мы же ничего не скрывали и никогда не притворялись. Те, кто не верил в Бога, не стеснялись говорить об этом. Остальные готовы были, если надо, за него умереть. Большинство из нас верили в Бога изо всех сил. Некоторые были скептиками и ели по пятницам скромное, но потом все же умирали в благочестии.

Так что мы, в общем и целом, были верующими людьми. И как верующие люди мы проявляли упорство, смирение, порой склонность к безумным поступкам, порой непонимание происходящего и всегда – непреклонность. Как нам было не верить в Бога, сделавшего нас такими, какими мы стали? Вознося ему молитвы, посвящая ему наши благие дела и благие порывы, мы знали, что он примет их и будет продолжать заботиться о нас. Усомниться в Боге означало бы отречься от самих себя. Об этом не могло быть и речи.

Благодаря чудесной встрече мы открыли для себя классический порядок, разум великого века, Декарта, о котором почти ничего не знали. Для нас Бог был прежде всего гарантией всеобщей уверенности, замковым камнем свода всего здания, на вершине которого, с Божьей помощью, находились мы. Бог все сотворил, и, продолжая и дальше творить, он постоянно поддерживал незыблемый порядок вещей и живых существ. Не верить в Бога означало бы исключить себя из вселенной, предаться безумию, ненужной и заведомо осужденной ярости. Мы считали, что атеист не может ничего понять ни в устройстве вселенной, ни в истории человечества, ни, разумеется, в морали, ни в геометрии. Почва должна была уходить у него из-под ног. Мы же шагали под всевидящим Господним оком, имея его благословение и выполняя его волю. Наша заслуга тут была невелика, поскольку он сам желал нашего величия.

Это величие могло стоить дорого. Не из лицемерия, а только, если вы так уж настаиваете, из гордыни, мы, возможно, были фарисеями. Но ведь в фарисействе порой присутствует какая-то доля героизма. Несмотря на отдельные проявления своенравия, несмотря на настоятеля Мушу с его пышками под малиновым соусом, воля Бога была для нас священной. Мы могли удивляться ей, когда она нам не очень подходила. Случалось, что мы протестовали против тех его решений, которые нам наносили ущерб. Ну и пусть: мы заранее им подчинялись. Девизом семейства было: «Услады Божьей ради». Слова эти сохранились на серебряных подносах и стаканчиках, на многочисленных книгах, на многих зданиях и, в частности в Риме, по-французски, над входом в часовню Сан-Джованни-ин-Олео, воздвигнутой кардиналом с нашей фамилией в том месте, где, по преданию, идущему от Тертуллиана, святой Иоанн Евангелист вышел невредимым из испытания кипящим маслом. Даже сейчас еще можно видеть, в двух шагах от красивой церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина, это свидетельство римского прошлого нашей семьи. В каком-то смысле девиз этот нас устраивал, поскольку на протяжении веков услада Божья не без помощи больших батальонов работала на нас. Важно было, естественно, помешать Всевышнему повернуть свою милость против нас или потерять сноровку. Однозначно принималось на веру, что услада Божья должна была служить нам. Впрочем, мы ведь тоже были пленниками системы. Мироустройство предполагало смерть детей, страдания, горе, возможность разорения, наличие радикал-социалистов во Франции и большевиков в России. Мы принимали все это как солдаты, безропотно и без колебания. Формула «воины Господа» представлялась нам прекрасной. Не уверен, что выражение «армия и церковь» передает все ее величие. Надо было не только сражаться, но и соглашаться. Достигать победы путем послушания. Полагаться на Господа, поскольку за ту тысячу лет, что он занимался нами, он не раз доказывал свою лояльность.

Чувство семьи, любовь ко Всевышнему, определенное доверие к порядку вещей способствовали развитию у нас веры в свободную волю и чувства ответственности. Ответственность лежала на Боге. Это он принимал все решения. Ну а свобода, что за вздор! Каждый зависел от своего прошлого, от своих воспоминаний, от незримого присутствия ушедших в иной мир, от груза традиций. Нечто похожее на марксизм, в котором экономическая необходимость и призыв к будущему оказались как бы замененными моральными обязательствами, шепотом исчезнувших поколений и навязчивыми мыслями о прошлом.

Таким образом Бог делил с нами ответственность за истину. К сожалению, общаться с ним было довольно трудно. Излияние чувств, прямой контакт с Библией, протестантское общение с глазу на глаз – известно к чему ведут все эти проявления гордыни высоко мнящего

о себе человека: к личному мнению, к индивидуализму, к разгулу толкований, к критическому анализу, к сомнению и анархии. Больше всего мы опасались двух ужасных монстров по имени «сомнение» и «анархия». В том, что касается нравов, Церкви, политики и искусств, мы были за определенность и за организованность. Нас вполне устраивали пирамиды, обелиски, Святой Дух, Святой Отец, принцип единоначалия, семья, природа. А вот спираль, демократия, гомосексуализм, диалектика, символизм, импрессионизм, современное и абстрактное искусство, Андре Жид, а до него Ренан не вызывали у нас ничего, кроме отвращения. К счастью, божественная истина выражалась в вещах ощутимых, недвусмысленных, неизменно прочных, становящихся все прочнее, неподвластных времени и называемых воспоминанием и традицией. Поскольку всем распоряжался Бог, который предоставил истории развиваться так, как она развивалась, история была хорошей. У истины было свое лицо. И искать его надо было в прошлом.

Но вот и в самом прошлом все вдруг усложнилось, усложнилось из-за случившейся катастрофы. До 1789 года мы были гегельянцами. Мировая история была Божьим судом. А в 1789 году случилось нечто ужасное, провозвестниками чего были Лютер, а может, еще даже Галилей, случился бунт человека против богоугодной истории. От этого наша задача стала намного труднее. До революции мы были за историю и за Бога, поскольку, согласно святому Августину, святому Фоме и Боссюэ, Бог и история сливались в одно неразрывное целое. Тогда как после революции мы были по-прежнему за Бога, но против истории. То была битва света и тьмы, преисполненная тревоги и страха.

История была для нас священна, но мы все время занимались ее исправлением. Мы снова и снова вводили в нее понятия Бога, семьи, преемственности, вечности – всего того, что безумцы хотели выбросить из нее. И мы ее подправляли. Нам еще удавалось опираться на нее. Постепенно она отходила от действительности, от эволюции умов, от развития науки. Ну и пусть. Мы жили в истинной истории, опираясь на истинные ценности, на истинные традиции, а не на те, которыми жили прочие люди. Мы жили в реальной стране, а не в той, где происходили республиканские выборы, где жили господа Гамбетта, Блюм и Даладьё. Ритм истории нарушился, как нарушилось что-то в смене времен года, как и нарушилось что-то в добром старом климате, из-за чего сейчас в июле вдруг начинаются дожди. Настоящее время перестало готовиться к тому, чтобы завтра превратиться в прошлое, которое еще только собирается наступить. Стало совсем другим. Ошибочным, чудовищным. И будущее тоже очень изменилось. Теперь стоило больших усилий напрямую связывать будущее, увы, еще далекое, с прошлым, уже, увы, тоже далеким. Настоящее же оказалось взятым в далеко отстоящие друг от друга злоеущие скобки. Мы жили в истории, освященной Богом и семейными традициями, а вне нашего круга нас считали сумасшедшими рыцарями, помешанными на мифологии прошлого.

Истина не имела ничего общего с тем, что подсказывали наблюдения, опыт, наука, диалог. Декарт стал от нас куда-то удаляться. Мы были картезианцами благодаря основополагающей концепции божественной гарантии. Но в то же время мы не были таковыми, так как в поисках истины отрицали роль опыта и даже ума. Для нас истиной была история, которую сотворил бы Бог, с нашей помощью разумеется, если бы люди в своем заблуждении не надоедали ему понапрасну, если бы они не мешали бы ему. Разумеется, Бог был всемогущим. Только по доброте своей, а может, и из-за некоторой своей слабости он был чересчур уступчив, за что мы его немного осуждали. Но грядущее пробуждение обещало быть ужасным. Он испытывал людей, готовясь однажды покарать их. А вот нас он должен был посадить по правую руку от себя, потому что мы не сомневались. Ни в Господе, во-первых. Ни в себе, во-вторых. Именно во избежание сомнений мы и решили не размышлять.

Подобное представление об истине, разумеется, препятствовало использованию нами либеральных, научных методов республиканского обучения. Помню, как возмущался мой дедушка учителями, нанесшими столько вреда, как он возмущался школьными программами или произведениями историков вроде Маттьеза, Олара, Гиньбера, Мишле, Ренана, Мале, Жюль

Изаака и прочих им подобных. Они компрометировали не только будущее, но и прошлое. Всем этим республиканцам, социалистам и атеистам мало было заниматься безумными предсказаниями и своей зловредной политикой, мало было устраивать выборы и пичкать людей своей омерзительной литературой. Это куда еще не шло. Но им не надо было прикасаться к двум вещам: к армии и к истории. Потому что и в той, и в другой отражалось прошлое, потому что, по нашему убеждению, и та и другая подготавливали будущее. Мой дед испытывал горькую радость, наблюдая перехлесты университетских профессоров, ученых и тех, кого тогда только еще начинали называть «преподавательским составом». Ведь все эти люди критиковали старый режим и превозносили годы террора. И даже ставили под сомнение существование Божественного провидения и Иисуса как исторической личности. Дедушка задавался вопросом, до чего же они так дойдут в своих безумствах. Возможно, теперь уже конец был близок. Все ведь зашло настолько далеко, все достигло такой степени неприличия, что реакция становилась прямо-таки неизбежной. В моменты оптимизма, перемежавшимися у него при виде деградации умов и нравов с приступами уныния, дедушка мечтал о временах, когда у всех вдруг откроются глаза, когда порядок вещей восстановится вокруг Церкви и трона, когда каждый найдет свое место в обществе и когда, разумеется, мы вновь обретем наше место, как всегда, в первых рядах, когда офицеры и солдаты, ремесленники и крестьяне, художники и литераторы почувствуют свою солидарность в «организованном разнообразии» и когда вновь будет в почете наша фамилия.

Мой дед буквально приходил в бешенство от обязательного обучения этой искаженной истории, в которой имена наших святых и маршалов упоминались походя и зачастую сквозь зубы. Даже в приличных домах, даже среди преподавателей христианских школ и лицеев, даже в религиозных организациях и иезуитских колледжах постепенно воспринимали новую моду и начинали говорить о Дантоне, Робеспьере и Марате, словно не лучше было бы для этих несчастных, если бы их имена навсегда канули в реку забвения. Помню, как гневался дедушка, увидев, что в учебнике Мале и Изаака ни разу не упоминалась наша фамилия, тогда как трижды (как говорил дед, «столько же, сколько раз отрекался Петр») упоминалась презренная фамилия Мишо де ла Сомм. Французская революция уже не изображалась как эпизод, поспешно взятый в скобки возвращением короля через двадцать один или двадцать два года после смерти Людовика XVI. Наоборот, ее представляли как одну из вершин в истории Франции и даже хуже того: как начало нового времени. Моего деда удручало то, что изучение революции совпадало по времени с созревaniem у шестнадцатилетних подростков политического сознания и что от знания этого периода истории зависела оценка на экзамене по истории, из которой исключены были Возрождение, контрреформация, Великий век, прямые Капетинги и итальянские войны. За что же тут было уцепиться, коль скоро разрушительное безумие не оставляло в покое даже то, что нельзя трогать по определению, то, что, будучи завершенным, стало неприкосновенным: прошлое и покойных? Да, все менялось. И современность тоже, хотя это было и не столь важно, ибо мы привыкли к испытаниям, требующим мужества и человеческих жертв. Однако, что гораздо важнее, менялось и будущее. И наконец, менялась история, что представляло собой настолько чудовищный скандал, пережить который было довольно трудно.

Чтобы полностью изолироваться от разлагающегося внешнего мира, дед мой собирался последовать примеру Ноя, чей ковчег выдержал натиск волн Всемирного потопа. Плесси-ле-Водрёй превращался в оборонительное сооружение, в крепость, в редут. И в то время как представители семейства Реми-Мишо разъезжали по всему миру на автомобилях, на поездах, на пароходах, а затем и на самолетах, мы замыкались в самих себе. В конце концов даже люди, принадлежащие к той же породе, что и мы, стали считать нас большими оригиналами. Общались мы главным образом с очень верными старыми слугами, которые совсем как мы покачивали головами, вспоминая былые замки из пралине и растопленного сахара. Однажды, когда тесть дяди Поля рассказывал об одной из фантастических своих охот, как о далеком и эле-

гантном прошлом, охот с целой армией слуг, подбрасывавших дичь чуть не к ногам гостей, я услышал, как дедушка проворчал в своем углу: «На его месте я бы не хвастался этим». Помню также, как прекрасным летним днем мы получили открытку от все того же Альбера Реми-Мишо, совершавшего путешествие в Эгейском море. Альбер Реми-Мишо радостно перечислял имена знатных персон, с которыми завязал знакомство на своей яхте. «Я виделся с Этьеном де Бомоном, с Монтестью и Греффюлями, с очаровательным Фордом-младшим...» Это было уж слишком. Дедушка ответил ему на Санторин до востребования открыткой с изображением скачущего оленя: «Я видел Жюля. Он шлет вам горячий привет!» «Какой Жюль? – спрашивал тот в письме, присланном с острова Миконос. Если это Жюль де Ноай, то передайте ему дружеский привет. А может, это Жюль де Полиньяк, с которым мы вместе ехали три недели назад из Лондона в Монте-Карло?» Дедушка разорился на телеграмму: «Оставляю Вам всех Ваших Жюлей, прочих тоже. Себе оставляю моего Жюля, сторожа охотничьих угодий Плесси-ле-Водрёя вот уже сорок семь лет».

Надо сказать, что Жюль играл большую роль в нашей семье, из поколения в поколение, начиная с Реставрации. Альбер Реми-Мишо отомстил, распространив придуманную им историю про моего прадеда. Два дня весь Париж смеялся. Якобы мой прадед и Жюль, еще молодой, а может, отец Жюля, которого тоже звали Жюлем, поднялись вместе на самую высокую башню Плесси-ле-Водрёя. Дело было летом. Солнце освещало картину, так любимую моей бабушкой. Были видны и Русета, и Руаси, и Вильнёв, привольно раскинувшиеся среди лесов и полей. Речки и озера сверкали как зеркала.

- Жюль, – будто бы произнес мой прадед, – открой глаза.
- Открыл, господин герцог.
- Что ты видишь?
- Вижу деревья, озера, луга, фермы.
- А еще что?
- Вижу холмы вдаль, еще леса, опять озера и насколько глаз хватает – луга и деревья.
- Так вот, Жюль, все это мое. А теперь, Жюль, закрой глаза.
- Закрыв, господин герцог.
- Что ты видишь?
- Ничего, господин герцог.
- Так вот, Жюль, это – твое.

В конце концов эта басня дошла до ушей моего деда. Он только пожал плечами. «В этой выдумке – весь подлый стиль буржуазного вранья. До чего же глупо! Ведь все, что наше, принадлежит и Жюлю».

Конечно, дед преувеличил. Но, может быть, какая-то доля правды в этом все же была. Не открыв еще для себя человечества, мы старались, как могли, быть полезными своей семье. И она как-то функционировала. А Жюль в большей степени, чем кто-либо другой, был ее неотъемлемой частью.

Так боролись мы, отстаивая свои пяди земли, с окружающим миром и временем. Мы организовывались. На каждом шагу старались обнаружить какие-то остатки традиций, чтобы жадно зацепиться за них. Мы служили только в кавалерии, поближе к лошадям, более верным воспоминаниям о прошлом, чем люди. Старики-священники, ничего не знавшие об ужасной действительности, поскольку Господь миловал их, не открыв им глаза на современность, рассказывали подрастающему поколению о подвигах римлян и наших королей, рассказывали про Шарлотту Корде, про возглавившего когда-то восстание в Вандее Франсуа Атанеза де Шаретта, про справедливого короля Святого Людовика, про простодушного Генриха IV, про храброго рыцаря без страха и упрека Баяра, про победы маршала Тюренна. Мы не интересовались презренной современностью и безнадежным будущим. Взоры наши были обращены в прошлое,

поскольку мы боялись, как бы и оно не начало вдруг исчезать, таять, стираться в памяти и ускользать от нас.

IV. Часовщик из Русеты и двойная жизнь тетушки Габриэль

Мне кажется, я храню уже несколько веков воспоминание о большом каменном столе, что стоит у стен замка, в тени старых лип. Время не имело власти над ним. Он словно плыл по волнам вечности. Летом, в хорошую погоду, едва отобедав, и вечером тоже, после ужина, мы садились у этого стола всей семьей, невзирая на какие бы то ни было несчастья и переживания. На головах у нас были парики, затем треуголки, блестящие цилиндры, котелки, канотье. Были и военные кепи. А потом стали приходиться и вообще без головных уборов. Поколения, словно в каком-то фильме, незаметно превращались одно в другое, уходя в небытие, чтобы воскреснуть в образе своих детей, которые очень скоро в свою очередь сами становились родителями, дедами и прадедами. Нас изображали сидящими вокруг каменного стола – и Шампень, и Лебрён, и Ригу, и Ланкре, и Натье. А потом еще – Вагто, оба Пьеро, Буше, Фрагонар. А Реми Мишо де ла Сомм позировал Луи Давиду, такому же члену Конвента и такому же цареубийце, как и он сам. На нашей же стороне осталась госпожа Виже-Лебрён. Мы чуть было не удостоились объятий Бонна, когда появился Надар со своим аппаратом и своей треногой, чтобы тут же скрыться под черной накидкой и тем самым сделать нас своими пленниками. Мы вылезли из наших чудесных крепких позолоченных деревянных рам и перебрались в кожаные, а затем и в пластиковые альбомы и расположились там вперемешку с кем попало. Как же мы были правы, опасаясь технического прогресса! Он был нам ненавистен, как всякий прогресс. Беда, однако, состояла в том, что и талант тоже, и даже гениальность прельщали нас не больше. Мы уже уподобились портретам кисти Берты Моризо, Дега, Вюйяра и Боннара, но сами об этом не догадывались. С концом монархии, наряду с другими вещами, и живопись тоже для нас закончилась. Делакруа и Курбе вызывали у нас настороженность. Они использовали в качестве инструментов свои идеи. Мы предпочитали им Энгра и Гейнсборо. Вполголоса рассказывали, что один из наших кузенов ходил по домам терпимости и писал с натуры непристойности. Мы удивлялись, но лишь отчасти. Мы мало что знали, но могли догадаться, что существует некая тайная связь между проходимцами и художниками. Мы не были проходимцами. Не были мы и художниками. Нам и в голову бы не пришло ходить по проституткам или отрезать себе ухо, или уезжать в Абиссинию. А грешный кузен-пачкун, над которым мы с грустью посмеивались, носил красивую и старинную фамилию. Его звали Анри де Тулуз-Лотрек. Все катилось непонятно куда.

Среди сидящих вокруг каменного стола всегда царила теплая атмосфера. Каждый из нас ощущал в ней не только аромат своей молодости. Тут же витали и воспоминания о детстве, отрочестве и юности старейших из нас, совсем старых и ушедших в мир иной. Вы уже поняли, что смерть никогда не воздвигала слишком непреодолимых барьеров между нами, живыми, и теми, кто скончался. Глупая женитьба или предосудительные взгляды в большей степени противопоставляли человека семье, чем какой-то там узенький ручеек смерти: мы без труда перешагивали через него с помощью мостиков в виде воспоминаний, традиций, культа предков, преемственности. Надо ли повторять, что мы жили в окружении покойников? Мы, разумеется, любили Бога, но не только его: свою любовь мы делим между ним и нашими предками. Наши склепы с их надписями, гербами, надгробиями служили нам часовнями, а порой и церквями. Наши покойники были для нас богами. Мы знали их имена до двенадцатого колена, и они были нам ближе некоторых живых. Почему? Да потому, что мы всегда думали о них. Умершие живы, пока хоть один из живущих хранит их в себе. А мы хранили их в себе. Наши покойники были бессмертны, вы разве не знали этого? Они все тоже восседали вокруг каменного стола, и мы всегда чуть-чуть побаивались, не поднимутся ли они сейчас, в своих кафтанах и камзолах, и не начнут ли протестовать, делая это, разумеется, с привычной для них торжественностью, против

появления каких-то Реми-Мишо в их заколдованном круге. Мы и к обычным-то забастовкам относились с враждебным недоверием. А уж забастовка предков, забастовка традиций явилась бы для нас тяжелейшим испытанием.

В свете всех этих обстоятельств, возможно, вам станет понятно, почему я рассказываю вам о событиях и людях, которых никогда не знал, с некоторой долей фамильярности. Я говорю «мы» и буду продолжать так говорить, рассказывая о прадедах и прабабках, которых, когда я родился, уже не было в живых. Они были в мире ином для других людей, для которых существует лишь настоящее время, но мы видели их по-прежнему сидящими за каменным столом.

Когда пришло время и мне сесть за каменный стол, мир уже пришел в движение. Стало не так жарко, как раньше, летом и не так холодно зимой. Не было таких морозов, как в былые времена, когда дедушка в детстве катался со своей мамой на коньках, в январе, на замерзшем пруду. Лошади уже не играли большой роли. Уже рычали моторы машин, катившихся по еще белым от пыли дорогам, и восхищенные дети задирали к небу нос. Телефон звонил все чаще, не у нас, конечно, а у них, у Реми-Мишо. И от них мы подхватывали, словно заразные буржуазные болезни, тягу к скорости, к шуму, к суете и прогрессу. Прошлое от этого становилось менее живым. Порой мы замечали, что начинаем спорить о будущем. Точные науки брали верх над историей, и людей охватывала страсть к переменам. Все постепенно ускользало из наших рук, и старейших из нас охватывало то безразличие ко всему, то озабоченность. Озабоченность потому, что дела шли плохо. А безразличие потому, что они уже почти не принадлежали к тому беспорядочному и безумному миру, который они предоставили самому себе. Вокруг себя я только и слышал, что без Бога и без короля, без веры и надежды люди обрекли себя на гибель. Однако, несмотря на такие опасности, мы продолжали жить неплохо. Жизнь была суровой, но приятной. Были основания чего-то опасаться, но была и какая-то уверенность, что все благополучно разрешится. Сколько я себя помню, детство мое казалось мне спокойным, счастливым, безоблачным и надежным, заполняемым день за днем, благодаря моим близким, живыми воспоминаниями и еще далекими опасениями.

В ту благословенную пору, когда я появился на свет, в нашей незыблемой истории уже появилось нечто новое: представители рода Реми-Мишо уже привили нам определенный вкус к современной жизни. Очень долгое время мы были как бы изгнанниками в собственной стране. Мы отворачивались от всего окружающего, устремляя взоры к Богу, к королю, к родовой мифологии. А тут, благодаря деньгам и элегантности, мы оказались на острие современности. Стали последним криком моды, как говорили Реми-Мишо. После стольких веков величия и гордыни мы провалились в пропасть роскоши и тщеславия.

Тень орлеанства, короля-гражданина Филиппа-Эгалите, торжествующей буржуазии нависла над нашей непреклонностью и нашими традициями. Семья, с ее прошлым и ее замком, оказалась в руках тетушки Габриэль. По иронии судьбы все кончилось тем, чего так опасались дедушка и бабушка. Деньги, полученные от преступления, измены и отцеубийства, помогли перекрыть крышу новой черепицей, нанять новых псарей. Вскоре в доме появились ванны и холодильники. Дед все еще сопротивлялся. Я ведь уже рассказывал, что понадобился приход к власти Леона Блюма и Народного фронта, чтобы в замке появилась горячая вода. Нас подкарауливали, окружали и захватывали все удовольствия и опасности легкой жизни.

Кажется, я уже говорил, что тетушка Габриэль была невероятно красива. Еще до Первой мировой войны по красоте она занимала место где-то между г-жой Греффюль и г-жой де Шевинье. В 20-х годах она выглядела все еще замечательно. Наша фамилия шла ей превосходно. Она привнесла в дом массу привычек, которые в глазах других, не членов семьи, выглядели как старинные традиции, но деда моего приводили в ужас: роскошь, отличная кухня, любовь к путешествиям, а вскоре и к автомобилям, маниакальная страсть к водопроводу, страсть окружать себя красивыми предметами, английский акцент, непреодолимое влечение к литературе

и изобразительному искусству, к чему мы еще вернемся. Со смешанным чувством смотрел мой дед, как замок, которому уже не грозило разрушение, становился все прекраснее, заполнялся друзьями, приехавшими на два-три дня из Парижа, мебелью из Лондона, купленной по баснословной цене у «Сотбис» или «Кристис», как пол скрылся под ковролином, положенным поверх паркета, веками остававшегося голым, и как вместо очень изношенных, но очень красивых ковров на стенах вокруг появилась обивка из персидских тканей или вошеного ситца. То, что в Эльзасе и Лотарингии сумели сделать с сердцами людей, тетушка Габриэль сделала с большим салоном, с галереей маршалов, с зимним садом: мы возвращались в современность, а вместе с нами возвращался в современность и наш дом. Иногда по вечерам из пушек, купленных специально для этого дела Мишо, в летнее небо взлетали каскады ракет в виде красных лимонов, голубых и зеленых апельсинов, которые под всеобщие аплодисменты красиво освещали снопами искр замок, его темные крыши и длинный фасад, парк, каменный стол. Лет сто, если не больше, не видели мы подобных праздников. «Очень красиво», – говорил дедушка. Но я не очень уверен в искренности его энтузиазма при виде этих пышных празднеств и увеселений: короля уже не было, а мы веселились.

Как быстро все меняется! Мы все еще боролись по привычке с Реми-Мишо, а тетушка Габриэль уже больше, чем кто-либо, олицетворяла наше семейство. Как ни пытался дедушка отмежеваться от денег цареубийц, очарование, блеск и вообще все поведение красавицы Габриэль завоевывали сердца. То и дело слыша из уст тех, кого он уважал, что его сноха стала украшением семьи, дедушка и сам в конце концов поверил, что семейству, возможно, еще рано подводить итоги. Если бы некий гений нынешних времен вдруг явился в грохоте денежных автоматов и воплях труб с сурдинками, чтобы объявить дедушке еще при жизни, что грядущие опасности и беды смогут заставить его забыть о казни короля такими, как Реми-Мишо, то я уверен, что он поверил бы в это не сразу. Все Реми-Мишо по-прежнему оставались для него воплощением зла. Но тетя Габриэль воплощала его с такой грацией, что он прощал ее с каждым днем все больше.

У тетушки Габриэль кроме красоты и миллионов было еще и другое оружие. Она принесла моему дяде Полю четверых сыновей, а дедушке – четверых внуков. Сыновей было даже пятеро, но четвертый по счету, «маленький Шарль», о котором у нас говорили тихо-тихо, как о каком-то пороке или проступке, умер через несколько дней, а может, и часов после трудных родов. Со всеми своими сыновьями, дочерьми, зятьями, снохами, внуками и внучками седовласый, но еще не согбенный дедушка являл собой завидный образ патриарха, во всех отношениях благополучного – или почти, насколько позволяла эпоха, – окруженного своим потомством.

Надо сказать, что с появлением тети Габриэль вокруг каменного стола возникла атмосфера счастья. Идея счастья была не очень свойственна нашему клану. Это была новая идея, индивидуалистическая и революционная. К счастью мы относились с подозрением. Для воинов и священнослужителей, чьи портреты смотрели на нас из рам со стен гостиной, речь шла только об одном: выполнить свой долг, сохранить верность долгу. Моему деду и в голову никогда бы не пришла мысль захотеть стать счастливым. А тетушка Габриэль думала только об этом. И, благодарное ей за такое упорство, удивленное счастье постоянно ей улыбалось.

И даже дедушка... Хотя он был изначально настроен против того, что презрительно называл легкими сердечными радостями, перед одним зрелищем, перед зрелищем играющих детей, и ему тоже удавалось постигать азы нелегкого искусства быть счастливым. Никогда раньше Плесси-ле-Водрёй не превращался в такое царство свободы, смеха, беззаботности. У детей было всё: богатство, красота, здоровье, прошлое и будущее. Они, правда, об этом и не догадывались. Беззаботность и невинность составляют очарование молодости. Они не были ответственными за те явные несправедливости, на которых покоилось их счастье. Представьте их себе носящимися вокруг каменного стола в бархатной одежде принцев и принцесс, забрызган-

ной грязью. Знакомая картина, не правда ли? Все дети похожи друг на друга, поскольку еще не испорчены, не изуродованы требованиями жизни. Они еще находятся в том очаровательном состоянии, когда все уже обещано, но ничего не дано. Так уж устроен мир, что все, что с нами происходит – и даже счастье, сила, успех, любовь, – изначально несет в себе износ и злокачественные опухоли. Дети же ничего не знают об отрицательных сторонах жизни. Они еще стоят на пороге, еще ждут, затаив дыхание, в них еще кипит нетерпение, они торопятся жить. Они играют. Дети дяди Поля и тети Габриэль увлеченно играли под сенью старых башен замка Плесси-ле-Водрёй. Если приглядеться, то можно увидеть среди них и еще одного играющего с ними карапуза. Это был я.

Почему мы так любим эти картинки прошлого? Потому, что, когда мы оглядываемся назад, мы уподобляемся богам. Бог знает все времена и будущее всех нас. Мы же знаем только одно будущее: будущее в прошлом. Это и называется историей. Нам уже известно за пять или шесть лет до той войны будущее этих детей, играющих с Пьером, Филиппом, Жаком, Клодом и со мной вокруг стола в саду, где тетя Габриэль вышивает розы для приданого неимущим девицам, а свекор ее просматривает страницы бывшего еженедельника «Аксьон франсез», усилиями Морраса и Леона Доде ставшего ежедневной газетой. Поглядите-ка вон на того, что споткнулся и упал, расшиб в кровь коленку и с плачем поднимается, посмотрите, как к нему, отложив рукоделие, путаясь в своей длинной юбке, спешит, спешит тетя Габриэль, в то время как ему уже утирает слезы бонна, чопорная англичанка средних лет. Впоследствии, прекрасным майским вечером, где-то между Седаном и Намюром, он упадет гораздо менее безобидно, неся пакет республиканскому генералу Андре Коралу, прославившемуся как раз тогда на неделю-другую. Кто бы тогда мог подумать, глядя на этого быстро успокоившегося на руках у матери ребенка и на уже седовласого читателя «Аксьон франсез», что внук уйдет из жизни в Арденских лесах раньше деда? А кто бы мог подумать, что вон тот, в соломенной шляпе, который играет с собакой, через двадцать лет... Ну да, не будем смешивать все возрасты. Пусть сначала дети повзрослеют. Мы их еще повстречаем. Вот передо мной лежат фотографии тех лет с дядей Полем и моим отцом в соломенных шляпах канотье, с дедушкой, очень изменившимся, – но изменившимся в другом смысле, лишенным следов возраста, несчастий и испытаний, – с молодой женщиной в огромной шляпе, кажется, моей матерью, но я ее не узнаю, и с тетей Габриэль, овалом лица которой под тяжелой шевелюрой я люблю, машинально повторяя: «Ну до чего же она красива! До чего красива!...» – при этом почти ничего не различая из-за густой пелены из тысяч разделяющих нас дней и ночей. Ибо не только будущее остается для нас закрытым, непрозрачным, недостижимым: даже будучи зафиксированным на фотографии, ушедшее время тоже ускользает от нас навсегда. Можно ли судить о красоте, отвлекаясь от нашего возраста и нашей узкой культуры? Ведь зачастую нам бывает трудно сохранять уверенность даже относительно самих себя, относительно нашего прошлого, относительно того, какими мы были двадцать лет тому назад, относительно того, что мы делали позавчера. А прошлое других людей отбрасывает нас в совершенно неведомые миры. Смотрю я на эти фотографии, и они что-то во мне пробуждают. Но что именно? Легло ли определить? Что-то вроде секрета, который фотографии как бы пытаются сохранить, хотя и выдают его понемногу, выдают неохотно, прячут его за пожелтелой бумагой, толстой, как картон. Но какой секрет? Конечно же, связи с этим миром, из которого мы выходим, который нас сформировал и который мы взамен убиваем, убиваем, чтобы иметь возможность жить в свою очередь. Что еще? Время, ускользающее и откидывающее в небытие движения, смех, причуды, смешную одежду тех времен. И еще смерть. Смерть, которая окликает нас в этих исчезнувших образах. Умер мой отец, умерла моя мать, умерли дед, дядя Поль, тетя Габриэль, умерли четверо из пяти их детей, не говоря уже о маленьком Шарле – и пятым теперь оказался я, – умерли няньки-англичанки, умер и наш дорогой Жюль, таскавший всех нас на плечах. Когда я думаю о родных, мне слышится погребальный голос, совершающий переключку. Говоря о прошлом, мы всегда говорим

о смерти. И будущее тоже говорит нам лишь о смерти. Только настоящее время позволяет, да и то почти всегда без надежды на успех, держать смерть на почтительном расстоянии. Ведь жизнь – это всегда не что иное, как долгое отступление перед натиском смерти.

И все же до чего сладка была эта жизнь, так тесно переплетавшаяся со смертью! Я вновь вспоминаю нашу семью, из года в год собиравшуюся вокруг каменного стола. Солнце хорошо пригревает: на дворе весна, или лето, или те очаровательные дни осени, когда природа готовится к кончине года. Мы не думаем ни о чем особенном. Да и о чем нам было думать, Господи, ведь мы были так уверены в себе и ни в чем не сомневались! У каждого в голове витали обрывки мечтаний, простеньких мыслей. До чего же это легкая штука, счастье! Время от времени дедушка бросает какую-нибудь фразу. Он еще грезит о белом знамени, говорит что-то о Дрейфусе, о графе де Шамборе, вспоминает о старой герцогине д'Юзес. Произносит пару-другую фраз о Бурже, о Барресе, о Леоне Доде, которых он одобряет, о Мориаке, которого он не одобряет. Мы задаемся вопросами о погоде, о солнечных и о дождливых днях, о растущих цветах, о падающих от старости деревьях, о пасущихся в лесу косулях. Жюль выследил крупного оленя с королевскими рогами, насчитывавшими тридцать два отростка. Соседи В., те самые, которые защищали Америку в споре с дедушкой, помните? Так вот они называли их рожками. Они употребляют ту же лексику, что и Реми-Мишо – пока те не познакомились с нами, – и называют охотничий рог рожком. А г-жа В., видимо, чтобы сделать нам приятное и тем поднять себя в наших глазах, сказала о г-не Эррио и о г-не Даладье, что это просто какие-то туры общества. И сочла своим долгом возмутиться убытками, виновниками которых она их считала. А мы уже не видим г-на Даладье. Не видим и г-на Эррио. Говорят, что г-н Эррио знал кое-что о г-же Рекамье, о Натали де Ноай, о герцогине де Дюрас и что это он изящно выразился однажды: «Культура это то, что остается, когда все забывается». Мы, естественно, не собираемся что-либо забывать или обменивать наши воспоминания на какую-то весьма сомнительную культуру. Да и к тому же в любом случае идеи г-на Эррио не позволяют нам принимать его в своем доме. Но и господ В. мы тоже больше не увидим. Они разделят участь евреев, разведенных, радикалов, социалистов и прочих, кого мы не принимаем. Дело в том, что и язык тоже, подобно предкам и замку, подобно хорошим манерам и католической вере, входит у нас в понятие «наследия». Особенно термины, связанные с охотой, с животными, с природой. Хотя мы почти ничего не знаем, мы говорим на прелестном французском языке, чистейшем по звучанию и с целым рядом выражений, принадлежащих только нам, часто взятых из местного диалекта, произносимых так, как их произносят простолюдины. Мы не желаем, чтобы кто-нибудь что-либо в нем исправлял. Мы считаем наш французский отличным, поскольку он отличает нас от других. Есть такие вещи, которые мы все-таки немного знаем, которые пришли из далекого прошлого и принадлежат только нам: разновидности дубов и грушевых деревьев, садовые цветы с их английскими названиями, болезни лошадей и собак, колокол во дворе, созывающий всех на трапезы, католические обряды, список любовниц Шатобриана и правильное употребление прошедшего времени несовершенного вида сослагательного наклонения.

Впрочем, с тех пор, как кровь людей из клана Реми-Мишо попала в наши жилы и сделала нас элегантными, мы несколько отделились от природы, долго служившей нам убежищем от бед, и приблизились не только к цивилизации, но и к культуре, милой сердцу г-на Эррио, над которой мы так потешались и которую сильно побаивались, ибо она зачастую окрашивалась в антирелигиозные, республиканские, а порой и социалистические цвета. В конце концов, она сыграла в нашей жизни существенную и неоднозначную роль, о чем надо сказать особо.

За несколько лет до Первой мировой войны часть нашей семьи решила перебраться в Париж. Дядя Поль и тетя Габриэль стали подыскивать себе такой дом, где могли бы разместиться четверо детей, их воспитатель, две няньки, два повара с помощниками, секретарь и секретарша, эконо́м, швейцар, который был родом из Оверни, шофер, которого мы звали механиком и про которого тетушка и дедушка говорили, что он хорошо водит машину, лакеи, гор-

ничные и еще три-четыре менее значительных персонажа, в чьи обязанности входило обслуживать тех, кто обслуживал нас. Для богатых людей выбор жилища был в те годы делом нетрудным, но выбирать приходилось из небольшого числа кварталов, ибо месторасположение дома означало и место в обществе – у географии была своя иерархия. Авеню Булонского леса пролегалo слишком далеко, из двадцати округов столицы восемнадцать или девятнадцать не относились к числу достаточно элегантных, Пасси и Отёй еще не стали таковыми, а район Марэ уже перестал быть таковым, хотя на протяжении двух или трех веков именно здешние здания считались красивейшими в Париже. Квартал Терн населяли одни врачи, район Пантеона – одни студенты да отъявленные республиканцы, селиться рядом с которыми, даже после их смерти, было никак нельзя, Елисейские Поля – сплошные кокотки, Монпарнас – сплошная богема и никому неведомые художники. Оставалось предместье Сен-Жермен. Дедушке казалось, что место это несколько фривольное, почти дурного тона, поскольку там проживали целые династии людей, обогатившихся при императоре и орлеанистах. Тетушка Габриэль кинулась именно туда.

Превращенный уже много лет назад в министерство особняк на улице Варенн, в двух шагах от улиц Бельшасс и Вано, был построен в 1692–1707 годах архитекторами Либералем Брюаном и Жюлем Ардуэном-Мансаром для принца де Конде. Совсем недавно я туда заходил передать кое-какие документы одному высокопоставленному чиновнику, человеку деятельному и слегка циничному. Я пересек большой двор, настоящее чудо гармонии с очаровательными пропорциями, поднялся по большой каменной лестнице, указанной мне привратником, чья нарочитая небрежность в сочетании с беретом и тапочками, будто он собрался играть в петанк, делала из него более или менее полную противоположность строго величественного г-на Огюста, швейцара тетушки Габриэль. Меня окружили тени прошлого: лакеи былых праздничных вечеров в ливреях с кружевными жабо, в темно-синих коротких штанах, застывшие с факелом в руке на каждой пятой ступеньке; дамы в изумрудах, будто сошедшие с картин Эллё или Больдини, с диадемами на головах и веерами из слоновой кости или из страусовых перьев в руках; мужчины из романов Пруста, Радиге, мужчины, похожие на великого Мольна из одноименного романа Алена-Фурнье, особенно если заменить дворянскую усадьбу в Солони и внутренний школьный дворик в тумане на декорацию в духе Сен-Симона, слегка подправленную Морни и принцем Уэльским. Как быстро бегут года, как меняются вещи! Ребенком я играл в этих кабинетах, где сейчас важные молодые люди чертили графики производства и рисовали на основе докладов, напичканных цифрами, образ той Франции, которой еще предстояло родиться, Франции, проступающей сквозь дым заводских труб, следы от которого будут уничтожать с помощью каких-нибудь новых моющих и чистящих средств. В ванной комнате дядюшки Поля теперь восседал руководитель отдела. Кухни, находившиеся в полуподвале, приютили архивы. Время перевернуло пространство. Виктор Гюго сокрушался по поводу исчезающей природы. А я с грустью наблюдал, как меняется культура, гораздо более хрупкая, чем деревья и озера. Я ощущал ту же печаль, что и Олимпио, но только в связи с развитием общества.

Там, между церковью Инвалидов и бульваром Сен-Жермен, между часовней Пресвятой чудотворной Девы и улицей Сен-Доминик, на протяжении двадцати лет, в начале XX века царили дядя Поль и тетя Габриэль. Именно там состоялись празднества, вдохновившие Марселя Пруста, очарованного моей тетушкой, не видевшей его в упор, на описание не только вечера у принцессы Германтской в «Содоме и Гоморре», но также еще и раута, на котором барон де Шарлюс «низлагал» Покровительницу, то есть г-жу Вердюрен, будущую герцогиню де Дюрас, будущую принцессу Германтскую, пригласив от ее имени и вместо нее, чтобы было кому аплодировать Чарли Морелю, целую толпу друзей, в которой среди многих прочих блистали неаполитанская королева, брат баварского короля, г-жа де Мортемар и три старейших пэра Франции. Именно там впервые были показаны два довольно известных, вызвавших скан-

дал фильма, о которых мы еще скажем несколько слов. Такие вот блестящие результаты дало смешение нашей крови с кровью Реми-Мишо. После стольких лет славы, а потом забвения, после стольких побед и поражений мы наконец вновь приобщались к успеху. Мы вновь оказались на авансцене мирового спектакля. Газеты писали о нас. Правда, писали уже не на тех страницах, что раньше. Фамилия наша теперь появлялась не в рубрике вестей с фронтов, не рядом с именами глав государств и народных вождей. Мы скатились в рубрику суетности без славы, погрузились в яркий мрак светской хроники и происшествий.

Из чувства преданности дедушке я довольно презрительно относился к пене от этих празднеств и удовольствий. Кажется парадоксальным, но если бы я был более легкомысленным и вместо чтения Плутарха и святого Фомы, авторов, рекомендованных мне каноником Мушу, я чаще принимал приглашения тетушки, то еще в отрочестве и ранней юности повидал бы на этих, вошедших в историю вечерах Сальвадора Дали и Мориса Сакса, Арагона и Клоделя, Жоржа Орика и Дягилева, пять или шесть графов д'Оржель, равно как и всех Сванов и всех Шарлюсов, каких только можно было встретить в Париже. Буквально всех, кроме одного человека. Кроме моего деда, которого, как вы уже поняли, и не приглашали на эти вечера, на которых старые тетушки из Бретани, оказавшиеся проездом в Париже и давно отвыкшие от подобных приключений, могли столкнуться нос к носу с каким-нибудь представителем художнического сообщества «Бато-Лавуар», завсегдаем улицы Фонтен или кабаре «Бык на крыше». Я даже не уверен, что деду когда-либо приходило в голову, что творилось на улице Варенн. Он читал «Аксьон франсэз», а не модные журналы и не авангардистские издания, и даже не «Фигаро», где юный Пруст детально описывал вечера на улице Варенн. Дед читал и перечитывал Шатобриана. Охотился в Плесси-ле-Водрée с Жюлем, с сыном Жюля, с внуком Жюля. И ждал возвращения короля, как иудеи ждали прихода Мессии: то есть уже и не верил, но все же упорствовал в своей вере. Но семья за его спиной стала меняться. И меняли ее деньги.

Дядюшка Поль, слава Богу, не совсем утратил чувство семейной традиции: он не был чересчур умным. Я даже слышал, как кое-кто из приглашенных им гостей называл его просто дураком. Внешне он был довольно хорош собой, но чем-то напоминал барана, которому приклеили большой нос, чтобы он выглядел более изысканно. Странно было видеть, как он беседует с великим художником по костюмам Полем Пуарэ, шившим платья для детей Габриэль, с Кокто или Нижинским. У него всегда был скучающий вид человека, разговаривающего с талантливым человеком или с гением только для того, чтобы сделать приятное жене. Тетушка Габриэль так же повелительно обращалась с Реймоном Радиге и Эриком Сати, как и с моим дедушкой. Она заставила нашу фамилию сочетаться с такими понятиями, как инвестирование и рентабельность, на которых она была воспитана с детства. Власть – штука нелегкая; главное состояло в том, чтобы иметь деньги, и это уже было сделано; спорт, преступления и гениальность следовало исключить по целому ряду причин, которые в принципе можно было бы перечислить. Как сделать так, чтобы семья, вобравшая в себя представителей рода Реми-Мишо, стала играть принадлежащую ей по праву роль? Тетушка Габриэль кинулась в поэзию, в музыку, в живопись, в балет так же, как в прошлые времена она увлеклась бы фрондированием, училась бы пользоваться ядами, впуталась бы в историю с ожерельем королевы, воспылала бы жирондистскими страстями, предалась бы романтическим переживаниям, включилась бы в борьбу за или же против Дрейфуса, пошла бы за генералом Буланже, а позже увлеклась бы магией или индийской мистикой. Она заработала прозвища Габи, прекрасной Габи, прекрасной Габриэль, которые передавались из уст в уста, долетая до Рима, до Лондона, до Нью-Йорка. В конце концов особняк на улице Варенн стал играть в интеллектуальной художественной истории Парижа с 1906 (или с 1907) по 1928 (или по 1930) год роль, оставившую в воспоминаниях о той эпохе глубокий след. Маркиза Элизабет де Грамон, впоследствии герцогиня де Клермон-Тоннер, писала об этом доме в книгах «Во времена карет» и «Каштаны в цвету», графиня де Панж – в книгах «Как я встретила 1900 год», «Признания девушки», «Последние

балы перед грозой», Андре Тирион – в своем произведении «Революционеры без революции». Писали о нем в своих мемуарах и некоторые послы, генералы, бывшие министры, особенно когда их обуревало лихорадочное желание попасть во Французскую академию.

Постепенно улица Варенн встала в один ряд с такими знаменитыми салонами первой половины века, как салоны Этьенны де Бомон, Мари-Лоры де Ноай, как салон Мизиа Сер, близкой подруги моей тетушки. Чтобы быть принятыми в них, люди проявляли чудеса изобретательности. А ведь всего-то и требовалось – немного остроумия, немного дерзости, кое-какие способности, и уж совсем хорошо, когда имелся в наличии еще и талант. Кого там только не было – имена талантливых людей, словно ореол, окружают знатные фамилии. Порой декаданс измеряется поступью прогресса. Чтобы осветить каждый этап метаморфозы, каждый шаг вперед тети Габриэль, каждый вечер на улице Варенн, нужен был бы хотя бы один абзац, а еще лучше – глава, а то и том воспоминаний. Но я не намерен упражняться в микropsихологии. Я лишь набрасываю контуры истории атмосферы того времени, контуры таких тонких и неуловимых вещей, как уходящие годы или аромат эпохи. Только одному Богу известно, что происходит в сердцах. Гордыня моего деда, его эгоизм, его величие, суетность Габриэль, ее талант, ее глупость, ничтожность дядюшки Поля, его хитроватость ловкача, – все это я не в состоянии взвесить и вынести обо всем этом суждение. Но вот образ жизни, высказанные мнения, нанесенные визиты, друзья, скрытые пружины истории – вот это, как мне кажется, я могу передать и выразить, хотя бы частично, ибо нет ничего более трудного, чем описать течение повседневной жизни. В этом я, конечно же, скорее историк, чем романист, поскольку я больше всего боюсь встать на место эдакого Всевышнего, читающего в сердцах и видящего у людей все нутро. Если хотите, я скорее репортер своей семьи, свидетель ее мечтаний и ошибок, бытописатель этой половины века, когда она пыталась выжить среди всякого рода потрясений. А что касается этих потрясений, то семья, понимая буквально завет Кокто, сформулированный им в пьесе «Новобрачные Эйфелевой башни»: «Коль скоро загадочные события нам не понятны, сделаем вид, что мы сами их организовали», – занимала место в голове колонны. И даже опережала события, чтобы сохранить иллюзию, что она по-прежнему творит историю, хотя та уже и вышла из-под ее контроля.

Думаю, что за блистательной историей особняка на улице Варенн можно без труда различить всякого рода проявления амбиций, любопытства, страхов, некоторой тяги к беспорядку после долгой неподвижности в крепостях жесткого порядка, неподдельной боязни отстать от своего времени, стремления быть всегда в авангарде, унаследованного, может быть, от далеких предков-всадников, странным образом появляющихся вновь под фантастическими масками на безумном празднике жизни. Тем, кто верит в законы наследственности, вольно различать в том, что я излагаю, влияние частично генов нашей семьи, частично генов Реми-Мишо. Мы стали совсем несерьезными, когда не осталось никого, кому можно было бы присягнуть на верность, когда не осталось ничего, за что можно было бы умереть. Мы сложили все яйца в одну корзину, в ту самую, куда палач Сансон швырнул отрубленную голову короля. Мы оказались крестоносцами без веры, верующими в отставку, верными служителями, уволенными со службы. Мы оказались обреченными на цинизм, на зубоскальство, на отчаяние и на погибель. А вот семье Реми-Мишо всегда сопутствовал успех. Ничто не мешало им блистать в первых рядах республиканского равенства. Они казнили короля, чтобы раздавать мелочь, причем большую часть монет с его изображением оставили в своих санкюлотских карманах. Именно итогом смешения этой бесполезной фривольности и нервозности от постоянного успеха и стал особняк на улице Варенн.

Я охотно допускаю, что можно и как-то еще объяснить эту метаморфозу нашей семьи, привыкшей общаться с лесниками и сельскими священниками и вдруг увлекшейся русским балетом и негритянским искусством. Очень может быть, что случайности, обстоятельства рождения или воспитания, отношения между родителями или наличие нянек тоже играли свою

роль. Однако я убежден, что история складывается прежде всего из исторических компонентов, таких как общество, семья, раса, окружающая среда и эпоха. Причем среда и эпоха играют более существенную роль, чем раса. Если бы для объяснения судьбы нашей семьи надо было выбирать между наследственностью и обществом, я бы сказал, что ключ к ней надо искать не в наследственности, а в обществе, в его развитии, в нарушениях равновесия в нем, в непреодолимом его давлении. Ну не марксистом ли я выгляжу, как это ни смешно, после таких рассуждений? Во всяком случае, скорее марксистом, чем фрейдистом. Даже если мне и приходится судить свою семью, а то и осуждать ее, разумеется, не с позиции судьи или моралиста, а с позиции биолога или врача, констатирующего уменьшение у нее жизненной силы, то я согласен делать это, соразмеряя происходящее с экономическими и социальными конвульсиями – наследниками сражений, Крестовых походов и величественных храмов, но никак не с невнятными, почти неприличными побуждениями, с детской мастурбацией или с внезапно увиденными поутру эпизодами какого-нибудь примитивного спектакля. Лучше уж погибнуть от руки поднимающейся буржуазии или рабочего класса, чем от рассказней нянек. Мы все-таки предпочитаем стать жертвами истории, а не сексуальности.

Карл Маркс был немцем, что не имело значения, но он был также еще и евреем и социалистом, а это никак не красило его в глазах моего дедушки. Однако у Маркса и у марксистов было нечто такое, что могло бы если не привлечь к себе, то хотя бы капельку заинтересовать моего деда, если бы он не решил раз и навсегда отрицать полностью все, что связано с социалистической революцией. Это нечто представляло собой смесь антипатии к деньгам и к промышленному капитализму с неприятием буржуазии, с решительным презрением к свободе личности, с подчинением ее стоящему над индивидуумом коллективу с чувством необходимости и с уважением к истории. В отличие от Макиавелли, игравшего со своим принцем в мелочные игры, Карл Маркс и мой дед были оба, хотя и по-разному, но доверенными лицами Провидения. Для обоих история была призванием, хотя, правда, Карл Маркс видел ее в движении, а дед – неподвижной, застывшей. Просто дедушка ставил моральную силу выше экономических законов. Думаю, что в этом он был прав. Но он выбрал не ту мораль. Потому что искал ее в прошлом.

Целый мир умещался между улицей Варенн и Плесси-ле-Водрёем. Моему деду во время Первой мировой войны исполнилось шестьдесят лет, и он уже почти не покидал своего замка. А когда он приезжал в Париж, то останавливался в своей просторной квартире рядом с бульваром Осман. Время от времени он появлялся на улице Варенн – пообедать или поужинать. Тогда тетюшка Габриэль выгоняла своих скульпторов и музыкантов, запихивала Пруста в платяной шкаф, отсылала Кокто в кабаре «Бык на крыше», отправляла Радиге на несколько дней за город или к Бомонам. И дедушка видел на улице Варенн лишь кузин из провинции, весьма и весьма почтенных дам. Происходило чудесное превращение: прошлое возвращалось во всей своей мощи, прогнав прочь авангард, парижскую элегантность, новинки сезона, пенящуюся и слегка подозрительную смесь таланта и остроумия. Разговоры снова шли об охоте, о традициях, о генеалогии, немного об истории, немного о морали. О правительстве говорили лишь плохое, но в плоских и приличных выражениях. Звучали сожаления о нынешних нравах, именно о тех, которые культивировала, как могла, тетя Габриэль, когда в доме не было деда. Собеседники предавались воспоминаниям. Противопоставляли блеск былого гнусной современности. Как был бы счастлив Пруст! Может, он и появлялся там за полночь, такой, каким запечатлел его Поль Моран, со своим пробором посередине и в меховом пальто в разгар лета, преисполненный выдающей юных еврейских гениев нагловатой смиренности. Похоже, что нет. Дедушка ничего о нем не знал. Он ничего не знал о современной музыке, о живописи, о бунтах, о чувственных танцах, о наркотиках, не знал ни о чем из того, что опьяняет людей и приводит в движение мир. Не знал он и литературы. Уезжая в Плесси-ле-Водрёй, он был уверен, что на улице Варенн продолжается семейная жизнь и что на роскошные обеды тетюшки Габриэль,

навсегда вписавшиеся в историю искусства, историю моды, историю болезни века, вписавшиеся в эстетическую и гомосексуальную революцию, собирались те же самые растворившиеся в небытии тени, что и на посиделки вокруг каменного стола.

Летом дядя Поль, тетя Габриэль, четверо их детей и несколько слуг уезжали на три-четыре месяца в Плесси-ле-Водрёй. И вновь время останавливалось. В годы между двумя войнами и за семь-восемь лет до первой катастрофы, до Первой мировой войны, у каждой зимы, осени и весны была своя окраска, свои необычные события, открытия и скандалы. Это были годы «Весны священной» Стравинского или «Парада» Эрика Сати, или Русских балетов, или «Какодилатного глаза», или «Грудей Тирезия», или присвоения Прусту Гонкуровской премии, или год, когда Коко Шанель сказала «нет» какому-нибудь английскому герцогу или какому-нибудь русскому великому князю, год Эпинара и его легендарных побед. А вот все летние месяцы, напротив, были похожи друг на друга. В моей памяти они сливаются в один долгий летний день, бесконечный и неподвижный, придавленный горячим солнцем, наполненный непрестанным жужжанием насекомых, день, едва заметно прерывавшийся в течение долгих четырех лет внезапными силуэтами такси с Марны и грохотом пушек в Вердене, да еще появлением вокруг каменного стола пятерых-шестерых новых покойников в серо-голубых шинелях с военными фуражками на голове. На протяжении двадцати или тридцати лет тетя Габриэль в летние месяцы усаживалась в будочке из ивовых прутьев, представлявшей собой нечто среднее между креслом и шалашом, пустой после кончины бабушки, и медленно отдавалась старению. Зимой она рассеянно рассказывала Марселю Прусту об этом шалаше, следы чего вы можете обнаружить в его «Поисках утраченного времени». По мере того как текли годы, красавица Габи все больше походила на бабушку, чей образ постепенно стирался у меня из памяти. Быть может, появление в нашей семье прекрасной Габриэль укоротило жизнь бабушки. Ну а затем Провидение, подсознание, совокупность случайностей, ирония вещей, течение времени отомстили, как и подобает, и виновница стала играть роль своей жертвы. В Париже Габриэль подталкивала семью в неведомое будущее. В Плесси-ле-Водрёе она возвращала нас в прошлое. Мало сказать, что она подражала моей бабушке. Она заменила мне ее. У нее появились бабушкины жесты, те же манеры, те же обороты речи. Одна и та же личность, чей блеск, чья энергия предопределяли в Париже успех выставки или театральной пьесы, в Плесси-ле-Водрёе превращалась в заботливую мать семейства, мирно вяжущую за столом, в активную благотворительницу, в чуть ли не седую старушку, в скромную наследницу сокровищ прошлого. Общество Эрика Сати сменяло общество сельского кюре Мушу, а трубы почти скандальной славы уступали место деревенской фисгармонии и молитвам во славу Девы Марии, в которых заунывные повторы являли собой звуковой образ нашей неподвижности, уступали место песнопениям, звучащим сквозь завесу времени во мне до сих пор:

Да, мы хотим!..

или:

Вознесися, душа моя,
К Богу вознесися, душа моя.
Все время возносись,
К Богу возносись,
Все время возносись,
К Богу, душа моя.

или:

О Дева Мария, Всевышнего мать,
Спасителя мать, агнца Божьего,
Дева несравненная, Израиля надежда,
Возлюбленная дева на светлой паперти небес,
Дева Мария, о нас помолись.

О мать пречистая Спасителя нашего,
Мать пречистая, мать Христа,
Пресвятая Дева, мистический символ.
Источник запечатанный, спасения врата,
Дева Мария, о нас помолись!

или еще:

Прииди к нам, царицею будь,
Молим мы, колени преклонив,
Да пребудет царствие твое,
Прииди к нам, к нам прииди!

Матери Божьей нашей
Помолимся, колени преклонив,
С улыбкою нас прощающей
Прииди к нам, к нам прииди!

Боже мой! У меня до сих пор звучат в ушах эти песнопения, столько раз слышанные в Плесси-ле-Водрёе времен моего детства, и я насаждаюсь запахом ладана в старой церкви, и, несмотря на слезы, туманящие мне глаза, я вижу среди прихожан тетю Габриэль, которая тоже поет, держа в руках толстый черный молитвенник и роняя из него портреты тех, кто почил в бозе.

Каждый из нас состоит прежде всего из других. Меняя свое окружение, тетя Габриэль меняла и свой характер, меняла направление своих мыслей, свою личность. Она топила авангард в хворях детей, в благотворительных праздниках на открытом воздухе, во всех ароматах прошлого. Она открывала для себя наших предков, казненных ее предками. И забывала своих предков. Она растворялась в истории нашего дома. В ней воскресали все наши усопшие, в ней, чья кровь когда-то возвела их на эшафот. Летом к ней возвращалось чувство семьи и традиции. Она забывала все, что не было связано с нашей фамилией. Забывала балы на улице Варенн, дадаизм, сюрреализм, негритянское искусство, блестящие премьеры и гениальных музыкантов. Она развила свой талант до такой степени, что казалась лишенной его. И она действительно лишалась его. Она становилась такой же глупой, как мы, и говорила только о соседях и о погоде. А умственные способности к ней возвращались с первыми заморозками, с листопадом, с началом учебного года, театрального сезона и вернисажей. И тогда она возвращалась к своему амплуа Богоматери авангарда. Ум ее обогащался умом других. Она простодушно выдавала свой ужасный секрет. Секрет всех людей: каждый из нас всегда является лишь тем, что думают о нем другие.

В Плесси-ле-Водрёе наши бессмертные покойники порешили, что тетя Габриэль является прежде всего женой старшего в семье. Потом, много позже, кое-кому захотелось убить этих покойников, чтобы мы могли наконец стать чем-то другим, а не просто частицей семьи. В начале республиканского, светского XX века под защитой стен и водяных рвов Плесси-ле-Водрёя наши покойники, слава Богу, благодаря римской католической и апостольской Церкви, бла-

годаря победоносной армии и нашей непреклонной памяти, чувствовали себя все еще довольно сносно. А вот в Париже их уже то и дело дергали за ноги разные злые и весьма хитрые чертенята.

До самоубийственных безумств таких людей, как Линдберг и Мермоз, до танков Гитлера, до телевизионных сериалов деревня, к счастью, была от Парижа далеко. Их разделял целый мир. Плесси-ле-Водрёй, с его каменным столом, предстает в моей памяти как тихая гавань, как некий остров, как скала счастья, о которую разбиваются волны, только волны не моря, а времени. Жизнь в современном мире постепенно разрушила сплоченность семьи. Профессии, денежные проблемы, любовь и случайные происшествия разбросали нас по всему миру. Но летом мы все равно собирались в Плесси-ле-Водрёе, приезжая из Лондона, Парижа, а затем и из Нью-Йорка, и с Таити. Старые ворота решетки парка закрывались за нами. И лето становилось для нас чем-то безбрежным, чем-то таким, что не имело ни начала, ни конца. Отрезанные от мира, мы укрывались в лоне семьи. Мы покидали время уходящее и поселялись во времени вечном.

Нас там ждали незыблемые правила вечного времени, где был Жюль, сын Жюля или внук Жюля, с ружьем под мышкой и кепкой в руке, где были пятнадцать или двадцать садовников, псари, псовые охоты, мессы по воскресеньям и зонтики моих тетюшек. Люди сражались или готовились сражаться на Сомме или на Марне, миллионы людей погибали или готовились погибнуть, а другие миллионы боролись, еще вслепую, с голодом и нищетой, менялся образ земли, поэты и физики сообщали о новых эрах. Мы же сидели вокруг каменного стола и ждали, что принесут нам «малая скорость», часовщик и велогонки «Тур де Франс».

Когда-то мы приезжали в Плесси-ле-Водрёй на лошадях. В каретах, в дорожных берлинках в колясках с откидным верхом. В ландо и фаэтонах. В быстрых и легких кабриолетах. Приезжали на поездах. Приезжали на автомобилях. Из Парижа, из Довиля, из Форж-лез-О, из Баден-Бадена. Это были еще те поездки. Мы ездили на «де дион-бутонах», на «роше-шнейдерах», на «делонэ-бельвилях», на «делайе», на «бугатти», на «испано-суизах», мой кузен Пьер – на «делаже», кузен Жак – на «тальбо», тетя Габриэль – на «роллс-ройсе». Потом настала эпоха длинных американских машин, эпоха красных итальянских и немецких авто. В последний раз, пять или шесть недель тому назад, я заехал в Плесси-ле-Водрёй на «Пежо 202» в сильный дождь. Добрался за два или за три часа, а раньше добирались за семь-восемь, хотя на дорогах тогда не было пробок, а моторы были огромные и очень шумные. Выезжали мы утром, где-нибудь по дороге обедали и приезжали вечером. Это были последние настоящие путешествия, причем расстояния покрывались не очень большие. Накануне отъезда все усаживались в машину для детальной репетиции. Каждый садился на свое место, в строгом порядке раскладывались пустые чемоданы и картонки для шляп. То, что умещалось в машине, составляло какую-нибудь десятую или двадцатую часть всего, что мы брали с собой на лето. Все остальное следовало поездом. И это создавало один из самых священных мифов моего детства. Вещи ехали «малой скоростью», и эти непонятные слова давали повод для многочисленных фантазий.

Я не очень хорошо представляю, как все устраивалось. Мир вокруг нас вообще развивался каким-то таким образом, что у нас не возникало необходимости касаться его, а соответственно, и понимать. Поскольку мы не трудились, мы уже и не понимали мир. Оборот денежных масс, эволюция идей, технический прогресс – все это были не наши проблемы, а проблемы других людей, таких как Реми-Мишо. Тетя Габриэль была связующим звеном между нами и машинами, театром, биржей, политикой, литературой, сюрреализмом, современной музыкой. Она же занималась и «малой скоростью». А мы ничем не занимались. Какими же мы были милыми! Не способными ни на что. Мы ждали «малую скорость».

Через три-четыре дня после нашего приезда прислуга, или сторож, или сам г-н Дебуа объявлял, что «малая скорость» прибыла на станцию. И на станцию снаряжали автомобиль или же телегу. И вот «малая скорость» въезжала, торжественно и немного смущенно, во двор.

«Малая скорость» появлялась в нашей жизни только раз в год в одном и другом направлении. А часовщик из Русеты приходил каждую неделю. Все замки на свете, в Шотландии и в Закарпатье, в Богемии и в долине Луары, всегда гордились тем, что в них насчитывается триста пятьдесят шесть комнат. И в Плесси-ле-Водрѐе тоже было триста шестьдесят пять комнат. Или что-то около этого. Мы никогда не считали. И в каждой комнате были настенные часы, еще восемь – в салонах, двое – в бильярдной, шесть – в библиотеках. Кроме того – всякие настенные часы с украшениями, да еще особо точные часы для проверки всех остальных. Каждую субботу из Русеты приходил г-н Машавуан заводить часы. Почему именно в субботу? Чтобы в воскресенье в полдень все часы пробили одновременно. По воскресеньям в двенадцать часов без двух минут дедушка, вернувшись домой после мессы, усаживался в одном из салонов, где к нему незамедлительно присоединялся в своей позеленевшей от времени сутане настоятель Мушу, приглашаемый в воскресные дни и на обед, и на ужин, влекомый в этот момент еще даже и не запахом пышек, которые подавали вечером, а ароматом воскресной курицы под сметаной. Чтобы показать, что он вовсе не маньяк постоянства, дедушка с удовольствием менял кресла и даже салоны. Усаживался и вынимал из карманчика золотые часы, подаренные его прадедом его деду в день, когда тому исполнился двадцать один год. И ждал. В полдень все часы в замке начинали звонить одновременно. В двенадцать часов одну минуту дедушка клал часы своего дедушки в специальный кармашек и принимался читать «Аксьон франсэз», или «Мемуары» герцога Сен-Симона, или же «Веронский конгресс» Шатобриана. Иногда в двенадцать часов и три или четыре минуты деда отрывал от чтения звон каких-нибудь опоздавших часов. Тогда он посылал лакея за господином Дебуа, чтобы тот потом поговорил об этом с г-ном Машавуаном.

Ключ от каждых часов лежал за какой-нибудь нимфой, за каким-нибудь изделием из ракушечника, за миниатюрной порфировой колонной или висел на ленточке. Но никому из нас и в голову бы не пришло воспользоваться этим ключом. Из-за рассеянности г-на Машавуана некоторые часы иногда, выдохнувшись, останавливались. И тогда надо было ждать следующего прихода часовщика, чтобы тот восстановил движение стрелок. Все дело в том, что мы должны были неукоснительно, вплоть до мельчайших деталей соблюдать определенный порядок и определенную иерархию. Принцип «свое место для каждой вещи и каждая вещь на своем месте» относился также и к людям, а может быть, как раз к людям в первую очередь. Роль г-на Машавуана в этой долине слез, куда нас забросил Господь, заключалась в том, что он заводил наши часы. Наша же роль состояла в том, чтобы ждать его и смотреть, как он работает. Я очень радовался. Это было удовольствие, которое мне никогда не надоедало.

Приход г-на Машавуана почти всегда делал меня несказанно счастливым. Говорил он мало. Горбун, маленького росточка, он работал очень тихо, и жесты его были точными и уверенными, как у хирурга или антиквара. Всегда одетый в черное, он бесшумно скользил из комнаты в комнату, коротко приветствовал тех, кто там находился, овладевал часами, как живым существом, несколько секунд ласково гладил их, смахивал перьевой метелочкой пыль, иногда решался подретушировать лакировку или приклеить отставшую деталь украшения, затем вскрывал внутренности своего пациента, орлиным взором заглядывал в самые интимные пружины организма и выверенными движениями, невероятно тактично начинал, наконец, заводить механизмы, и музыка этого волшебного ритуала вызывала у меня ощущение блаженства, которое, как я полагаю, что-нибудь сказало бы восприимчивым и деликатным современным психоаналитикам. Его спокойствие, его упорядоченность, его простота и молчаливая нежность отбрасывали меня куда-то за пределы времени. Внутри лета, замка и парка, являвших собой некое убежище, жесты г-на Машавуана создавали еще одно, еще более глубокое и таинственное

убежище. Странно, парадоксально, но заведенные часы словно останавливали время, застывшее с давних пор. Я делал все, чтобы в субботу не пропустить в десять часов появления волшебника-часовщика. В этот день я старался не выходить из своей комнаты, оставляя полуоткрытой дверь и защищаясь от солнца с помощью занавески или жалюзи. Я брал какую-нибудь книгу. Я ждал. Слушал шаги горбуна по коридорам замка и прелестные шорохи от прикосновения к снимаемым колпакам и циферблатам, от заводимых пружин, от звука отвертки, привинчивающей покрепче пошатнувшиеся миниатюрные колонны и крохотные лиры. Мне казалось, что я слышу, как перышки сметают пыль, а стрелки нежно, но решительно вновь обретают нужное положение. Я различал бой инкрустированных часов марки «Булль», бронзовых эпохи Людовика XV, часов «рококо» в гостиной, часов с китайскими мотивами – в голубой комнате, зеленых роговых часов – в бильярдной, часов в виде античной вазы – в соседней с моей комнате. Наконец дверь открывалась. Входил г-н Машавуан. Я сидел, затаив дыхание. Не шевелился, чтобы сполна насладиться чистотой звуков и жестов, извлекаемых г-ном Машавуаном из безмолвия и неподвижности. Восторженное возбуждение длилось несколько мгновений. Перед этим я часто нарочно передвигал стрелки, ставя неправильное время, чтобы иметь счастье слышать, как звучит часовой и получасовой бой под пальцами г-на Машавуана, когда он восстанавливал в своем скромном царстве порядок, установленный Богом, бабушкой и им самим. Он приводил в движение маятник, накрывал часы колпаком, еще раз смахивал пыль своей перьевой метелочкой или шерстяной тряпочкой, легкой, как шелк. И все. После этого он выходил. Иногда я набирался смелости и шел за ним или, еще лучше, обгонял его и шел перед ним. И в каждой комнате г-н Машавуан видел меня, сидящим в кресле с книгой в руках, изображающим удивление при его неожиданном появлении в комнате маркизы или в салоне с гвоздиками. Думаю, что и он испытывал удивление. Но ничем его не выдавал. Он заводил часы, кланялся и выходил, а через пять минут опять видел меня, в четвертый раз, теперь уже в угловой комнате. Он опять кланялся и заводил часы. Г-н Машавуан был мудрым человеком. И я любил его, хотя никогда с ним не разговаривал, любил его за даруемые им мне минуты экстаза, возникавшие из привычки, из молчания и времени.

Господин Машавуан жил в восьми километрах от Плесси-ле-Водрёя. Он приезжал на велосипеде. Трижды случалось так, что суббота проходила, а г-н Машавуан не появлялся. Первый раз потому, что его сынишка утонул в речке, притоке Сарты, где он часто играл. Воды там было мало, но мальчик упал и ударился головой о камень. Отец спал на берегу и ничего не слышал. Когда проснулся, ребенок был уже мертв. Второй раз г-н Машавуан уезжал куда-то с мясником. В эти два раза он приехал потом в понедельник, вместо субботы. А в третий раз он не приехал совсем. В ту субботу, примерно в десять часов без четверти, он умер, умер прямо на велосипеде по пути от Русеты к Плесси-ле-Водрёю.

Велосипед явно играл важную роль в нашей жизни. В начале века, как ни удивительно, лето всегда проходило под знаком маленькой «королевы дорог» и велогонки «Тур де Франс». Я полагаю, что портрет моего деда, нарисованный мной, не дает читателю оснований представить его себе пригнувшимся к рулю, в фуражке, повернутой козырьком назад, пьющим под клики толпы из горла бутылки, протянутой ему восторженным болельщиком, бегущим рядом с машинами сопровождения. Но ведь люди сделаны не из одного куска: не знаю почему, но дедушка обожал «Тур де Франс». Быть может, в душе он переживал то же, что и король, когда-то наблюдавший за битвой в кругу придворных, с планом крепости, разложенным у ног, с подзорной трубой в руках, стоя на холме, господствующем над равниной? А может, в нем просыпался инстинкт стратегической и тактической игры вблизи альпийских перевалов или эльзасских холмов? А может, он переносил на этих героев дорог любовь своих предков к поединкам и турнирам? Во всяком случае, в глубинах его души нашлось место для велосипеда, и благодаря одному из тех парадоксов, что придают реальной жизни неповторимый аромат, значительная часть лета в Плесси-ле-Водрёе проходила у каменного стола за разглядыванием на карте изви-

листого маршрута движущейся змейки на колесах. Тетя Габриэль разделяла эту страсть деда. В ее случае объяснение мне представляется более простым, чем в случае с дедушкой: это был снобизм простонародности после снобизма роскоши, крепкий запах толпы после утонченной компании узкого круга избранных, колбаса и дешевое красное вино после шампанского с черной икрой, которыми она пресыщалась в Париже перед своим отъездом в деревню весной. Я вспоминаю, как мы, собравшись вокруг дедушки и тети Габриэль, обсуждали под палящим солнцем новости на отрезке пути от Гарена до Бартали, как вели счет упавшим, сошедшим с дистанции, вырвавшимся вперед победителем на этапах. Во время Первой мировой войны победитель впервые надел желтую майку. Это было яркое пятно, еще одно выражение в нашем любимом языке, цветной мазок, яркий и подвижный, на карте Франции, ставшей такой тусклой и серой из-за введенных Республикой департаментов, названия которых, плоские и зловещие, вместе с удручающими результатами выборов так сильно контрастировали с веселой пестротой старых провинций времен монархии. Временами брови наши хмурились из-за фантазий: заезд в Германию или в Италию, прогулка по Люксембургу вместо Центрального массива, три лишних города, крюк по испанским провинциям. Несмотря на все эти отклонения в сторону, которые мы не одобряли, поскольку и в велосипедном спорте мы были, естественно, сторонниками традиции, сегодня мне кажется, что это была все время одна и та же гонка на велосипедах воспоминаний, проходившая из года в год, но на протяжении одного и того же лета все по тому же маршруту. Гарен и Пти Бретон, Пелиссье и Ледюк, Антонен Мань и Спейшер, братья Маес – помните? – Ромен и Сильвер, которые, несмотря на одну и ту же фамилию, вовсе не были братьями, Бартали и Коппи, Лапеби и Робик, Кюблер и Кобле, Жак Анкетиль и Луизон Бобе – мне кажется, что все они слились в одного сверхчеловека, одного и того же гиганта, одного и того же героя, лучезарного ангела лета, может быть, немного изменившегося, постаревшего с годами, оседлавшего солнце и скачущего по дорогам Бургундии и Прованса, Аквитании и Русийона, Бретани и Дофине. Неподвижно застыв по своему обыкновению вокруг каменного стола, мы мысленно видели толпы людей, всенародные триумфы, грандиозные финиши на закате в ликующих древних городах. Пти-Бретон и Антонен Мань в гораздо большей степени, чем такие политические деятели, как Дешанель, Фальер или Лебрен, были наследниками Людовика Святого и Генриха IV, поскольку они поднимали народ и поскольку народ их любил. Быть может, в этот век машин велосипед казался нам наследником коня? Быть может, в Ледюке и в Коппи мы видели неких кентавров, над которыми мы, разумеется, посмеивались, но которые своими подвигами, пусть даже смехотворными, звучали в нас эхом далекого нашего величия в прошлом? Ведь когда-то и мы тоже сражались и побеждали за наших дам, за нашего короля, и тоже были чемпионами, чьи ноздри жадно вдыхали запах фимиама славы, почти забытый нынче, но где-то в подсознании все же сохранившийся запах победы, запах триумфа, внимали приветственным возгласам толпы.

Если позволите, не будем сразу расставаться с Плесси-ле-Водрёем, изнемогающим от летнего зноя. Позвольте мне еще раз послушать из-за прикрытых решетчатых ставней звон солнечного сияния на цветочных клумбах, на гравии, у крыльца. По утрам, просыпаясь, я угадывал погоду прежде всего по звукам, угадывал, какого цвета небо, какое у него настроение, становившееся на весь день и моим настроением. Я слушал солнце. Оно стояло уже высоко и было уже горячим. К нему примешивался негромкий шум, который я слышу еще и сейчас, когда пишут эти строки, шум, складывающийся из тишины, из текущей где-то по цветам и газонам воды, из шороха рыхлящих где-то землю граблей, из жужжания пчел. Я закрывал глаза. Это было счастье. В эти минуты король, республика, отчизна, франкмасоны, война, деньги, нравы, все, из чего состоял окружавший нас мир, куда-то исчезало. Оставалось только счастье в чистом виде. Я слышал шаги, цокот копыт проезжающей лошади, голос дедушки, разговаривающего с садовниками. Слов я не различал, а только тихий, очень спокойный и как бы замедленный ропот. Я знал, что речь идет только о том, как сохранить то, что есть. Стены,

деревья, привычки, природу. Речь шла не о строительстве и не о разрушении, не о переделке и не об изменении. Речь шла только о сохранении, о спасении, о дальнейшем пребывании. Утром, в начале такого чудесного дня, поднимающегося под безоблачным небом, я слышал в своей спальне, как дедушка отдает обычные распоряжения посланным ему Богом слугам, чтобы новый день не отличался от прежних. Я смотрел в окно через ставни-жалюзи: солнце и тень чередовались, занимая равные участки пространства. Все, что менялось на протяжении дня или времени года – тень от башен, листья на деревьях, цветы на клумбах или в садовых чашах, – было, по существу, лишь другим образом вечности, быть может, кстати, самым верным: тень уходила, но потом возвращалась, листья опадали, но вместо них вырастали другие, цветы исчезали, но потом вновь расцветали. Нам нравились эти повторяющиеся циклы, в которых кажущееся непостоянство оказывалось лишь средством утверждения постоянства. В этом незащищенном мире, шла ли речь о лесах или о политике, о семье или о деньгах, об одежде или о путешествиях, наша задача была предельно ясна: прежде всего бороться с переменами. У нас был только один враг: время. Республика, демократия, буржуазия, дурные манеры, некрасивые дома, гибель лесов, всеислие денег, разрушение каменных стен и черепицы на домах – все, что нам не нравилось, было порождено временем. Как же мы ненавидели время! В этом случае мы, в отличие от Маркса, были противниками Гераклита и его постоянного движения существ и предметов в потоке лет. Сами того не зная, мы были последователями Парменида. Мы обитали в его мире – нерушимом, постоянном, законченном и недвижимом. И, если бы мы знали о нем, мы должны были бы почитать имя Зенона Элейского, для которого даже бегун на стадионе, даже летящая в воздухе стрела, даже быстроногий Ахилл, гоняющийся за своей черепахой, – все они были недвижимы в мире иллюзий. Время несло с собой все, что нас разрушало и чего мы боялись больше всего: износ и истощение, расслабление, изменение, упадок и забвение. У нас уже не было достаточно сил, чтобы заняться строительством. И поэтому мы стали хранителями того, что построили когда-то люди, память о которых мы хранили, несмотря на сопротивление революций и веков, память о людях, которые и сами, – но это было так давно, – может быть, и меняли что-то в порядке, существовавшем в ту эпоху, когда они жили.

Счастье, испытываемое мной, когда я следил, как поднимается над миром солнце, было очень спокойным и немного грустным. Спокойным, потому что история, случайность обстоятельств моего появления на свет, семья, дедушка дали мне прекрасный и ужасный подарок: они подарили мне защищенность. Когда я жил вне времени в Плесси-ле-Водрёе, хранимый садовниками с граблями, часовщиком и чемпионами «Тур де Франс», со мной ничего не могло случиться. Извините, но я должен сказать еще несколько слов об этой защищенности. Она не имела ничего общего с той защищенностью, которая была у Реми-Мишо и покоилась на их деньгах и на их талантах. Наша защищенность никак не соотносилась с деньгами. Следует признать, что никак не соотносилась она и с заслугами или с талантами, и это было замечательно, поскольку, как я вам уже сказал, никакими талантами мы не отличались, а заслуги, коль скоро мы выпали из системы, утратили в наших глазах всякую ценность, казались нам бесполезными, а то и нескромными, несколько подозрительными. Наша защищенность была не чем иным, как идеей. В отличие от социалистов, мы считали, что мир охраняют идеи. Это с нашей стороны выглядело довольно смешно, поскольку таковых у нас было очень мало. Марксисты, отрицавшие власть идей, наверняка имели их больше, чем мы, повсюду о них говорившие. Но при этом наш мир находился во власти одной идеи, единственной, может быть, но делавшей нас весьма уверенными в себе. Вся сила этой идеи заключалась в ее простоте: вещи являются тем, чем они являются.

Известно, что очевидные истины всегда скрывают некие системы. Нет ничего более пристрастного, чем беспристрастность. Когда говорят, что один су – это один су, истина, которую внушают и которая прячется за лежащим на поверхности здравым смыслом, позволяет понять, что за ней скрывается жадность. Когда мы безапелляционно заявляли, что вещи являются тем,

чем они являются, мы тем самым утверждали, прикрываясь очевидной истиной, что не следует их трогать. Существовал определенный порядок вещей, и он был угоден Богу. Богу было угодно, чтобы существовали наш замок, наши садовники, наша семья и наши убеждения. Богу было угодно, чтобы сохранялась наша фамилия. Надо было лишь доверяться ему, быть преданным ему. Бог всегда признавал своих. И нам страшно повезло, что его «свои» были одновременно и нашими «своими». Девиз нашей семьи, о котором я уже говорил, выражал все в трех словах. Шорох граблей садовников по гравии ранним утром, солнце над прудом, над лесом, над клумбами, всегда присутствующее прошлое, вечная семья – все это было утехи Божьей ради. Неопределенность в настоящем – утехи Божьей ради. Будущее, в отношении которого мы умывали руки, – утехи Божьей ради. Он наверняка во всех случаях распорядится лучше нас, отставших от жизни, обиженных историей. Если по честному, то существовала на свете только одна катастрофа, одна-единственная, которая могла бы нам угрожать: смерть Бога. Раз Бог нас поддерживал, раз он поддерживал наш мир, историю, солнце, нашу фамилию, надо было сохранять ему жизнь. Гибель Бога была бы концом истории, концом света, концом всего, нашим концом. Когда мы молились в церкви, или перед тем, как сесть за стол, или перед тем, как встать из-за стола, поутру, сразу после пробуждения, или вечером, в кругу семьи, наши молитвы не просто возносились к Богу. Мы молились также и за Бога. Чтобы он никуда не делся. Чтобы он продолжал свою работу, не подавал в отставку, не оставлял нас на полпути, до последних страниц книги нашей жизни, жизни наших детей, жизни правнуков наших правнуков, пока не иссякнут все поколения и не наступит конец света. Чтобы он продолжал заботиться, вместо нас и за нас, о движении мира. Чтобы солнце вставало как у ацтеков, чтобы успех сопутствовал нам как древним римлянам, чтобы добро и мы всегда побеждали зло и чужих. Утехи Божьей ради. Аминь.

Как видите, моя застрахованность очень отличалась от социального страхования, от гарантий, обретаемых через договоры между людьми. Я находился буквально в руках Божьих. Пока Бог был жив и охранял меня, ничего серьезного со мной случиться не могло, разве что какие-нибудь пустяки без последствий. Конечно, я мог умереть. Ну и что? Заслуги и талант не были составляющими нашей системы, а смерть была таковой, поскольку в нашей семье покойники играли более значительную роль, чем живые. К тому же мы были христианами. Мне кажется, что смерть нам не представлялась такой ужасной, как многим людям сейчас. Мы не очень беспокоились на этот счет. Разве не является для христианина смерть целью жизни? Думаю, что именно так полагал и Елеазар, когда отправлялся в крестовый поход на Восток с крестом на груди, и все мы, когда позволяли себя убивать за короля и за папу римского на полях сражений или бросали под эшафоты не обремененные большим количеством мыслей, но переполненные верой головы. С такой же верой мои дядюшки-реакционеры и кузены-монархисты погибали в Африке и в Азии во славу ненавистной им Республики.

То счастье, которое овладевало мной, когда я смотрел на работающих садовников или на г-на Машавуана, заводящего часы, или на портрет Антонена Маня, победителя «Тур де Франс», в утренней газете или в журнале «Иллюстрасьон», было счастьем абсолютно мистическим. В том, что касалось важных вещей, думая о которых, дедушка со вздохом произносил: «Ну и времена!» – то тут в отлаженный механизм Господа Бога люди подбрасывали камешки. Зато в мелочах Господь исправно продолжал свое дело. Покинув святы места, Иерусалим, Москву, Константинополь, Баден-Баден, Довиль, Париж, а может, даже и Рим, ослепленный модернизмом, предоставив их горькой участи, жестокий бог баталий, армий, идей, все еще неплохо занимался в Плесси-ле-Водрёе садовниками с их садами и часовщиками с их часами.

И все же это мое спокойное счастье, это моя твердая уверенность в незыблемом порядке вещей были не лишены какой-то грусти. Когда я просыпался поутру, никто не говорил мне, как говорил, обращаясь к своему господину, лакей Сен-Симона: «Граф, воспряньте ото сна, вас ждут великие дела». О каких великих делах могли мы мечтать, раз наши предки и Бог уже обо

всем позаботились? Нам оставалось только одно: как можно меньше тревожить то, что пришло к нам из прежних времен. Мы едва смели лишь читать, говорить, дышать, слушать. А то вдруг нарушим шаткое равновесие, сделавшееся совсем ненадежным из-за дурных идей, прущих отовсюду, будто сорная трава? Надо было не шевелиться, ничего не трогать, закрыть глаза, заткнуть уши и бдительно следить за священной неизменностью всего настоящего, доброго и прекрасного. Вот к чему в основном сводилась наша жизнь в Плесси-ле-Водрёе: к железной дисциплине, необходимой прежде всего затем, чтобы научиться ничего не делать ни с окружающим миром, ни с будущим, ни с собой. Все заветы, передаваемые из поколения в поколение, выражали одну мечту: лишь бы ничего с нами не случилось. Понимать надо было: ничего плохого и вообще ничего.

Все это – то есть ничего – происходило летом в Плесси-ле-Водрёе. Но стоило ей вернуться в Париж, как тетя Габриэль прибирала к рукам все движущие силы истории. Она на лету схватывала бразды правления и решительно утверждалась между доктором Фрейдом и «Быком на крыше», между Дали и дадаизмом, между каким-нибудь негром-пианистом и каким-нибудь сюрреалистом. После трех или четырех месяцев благочестивой неподвижности возле каменного стола и фисгармонии настоятеля Мушу тетюшка Габриэль чувствовала бурное желание перевернуть мир. Она окуналась с головой в какие-то хлопоты и подрывную деятельность, направленную на ниспровержение тронов, на ступенях которых мы сидели. В жаркую погоду она замедляла ход истории, а в холодное время года ускоряла его. На улице Варенн не оставалось ничего от песнопений, звучавших в Плесси-ле-Водрёе. Тетя Габриэль заменяла их взрывчаткой.

Несколько бомб, начиненных этой взрывчаткой и направленных против наших летних занятий, оставили след в истории идей. Громче всего на шумели три знаменитых фильма, эхо которых, к счастью ослабленное, дошло в конце концов и до нас, в Плесси-ле-Водрёй. Слава Богу, что нигде не сообщалось, где впервые были показаны эти фильмы. Как вы догадываетесь, это произошло именно на улице Варенн, именно там впервые явили себя миру «Андалузский пес» и «Золотой век» Бунюэля, а несколькими годами позже, накануне новой катастрофы, на которые так богат этот век, «Кровь поэта» Жана Кокто. Тетя Габриэль никогда не упускала возможности развертывать наступление своего авангарда сразу на трех фронтах: все еще нового искусства, революционной эстетики и расшатывания таких идолов прошлого, как здравый смысл, устоявшийся порядок вещей и религия, – то есть всего того, что было нам так дорого в эпоху нашего величия, уединения и обскурантизма. Фисгармония летних месяцев превращалась в рояль, в адское фортепьяно, из которого появлялись скалящие зубы, лихие иезуиты со связанными руками, оставившие далеко позади, причем с полувекowym разрывом, демонстрации церковной моды в фильме Феллини «Рим». Там были и окровавленные статуи, и руки с ползающими по ним красными муравьями, и расширенные зрачки, и кошмарные и одновременно смехотворные процессии – весь наш мир там предали осмеянию, всколыхнули, перевернули. Улица Варенн отрицала и убивала Плесси-ле-Водрёй.

Так вот, в конце концов мы разделились и ополчились на самих себя. Очень трудно удерживать вопреки истории знамя строгой морали, когда та не связана ни с деятельностью, ни с властью. Пока мы царили в этом мире, наши добродетели были рецептами победы. Нас часто тяготили эти добродетели, мы ими не очень дорожили и обращались с ними безо всякого почтения. Но при этом осознавали, что с ними связано наше величие. С тех пор как наш вес в обществе уменьшился, они не утратили своего значения, но стали бесполезными для нас. Верность, ответственность, традиция уже не гарантировали успех, а вели прямиком к поражению. И мы возлюбили поражение, поскольку любили добродетели, лежавшие в основе нашего величия. И вот история, эта проститутка, падкая на деньги, вечно смотрящая в рот власти и готовая служить всем, кто добивается успеха, опять стала с нами заигрывать, чтобы затащить нас в дома свиданий, где правят бал талант, случай, воображение. И как мы ни пытались, краснея

от стыда, объяснять ей, что никогда там не бывали, что нам там нечего делать, она только смеялась над нами, над нашей скромностью, над отсутствием у нас любопытства, шептала на ушко, что есть хороший шанс порезвиться вместе часок-другой. Раньше история так не разговаривала с нами; раньше она внушала нам, что нас ждут великие, вечные дела, а вовсе не забавы. Наверное, нам не следовало внимать ее соблазнительным речам. Но, чтобы сказать истории «нет» и отойти в сторону, надо было быть святыми. С тетушкой Габриэль мы дали себя соблазнить. В верности есть что-то от ограниченности. Мы еще не были настолько глупыми, чтобы оставаться совершенно чистенькими. И потом история ведь вообще на протяжении долгих веков представлялась нам чем-то вроде сплошной череды любовных наслаждений, и мы спали с ней. Как тут было не порадоваться нам, когда мы опять обнаружили ее в своей постели? Мы ее знали, мы ее любили, мы ее столько ласкали. У нас была власть над ней. Ничто не расстраивало нас так сильно, как сознание, что она погуливает с другими. И мы возвращали ее к себе, идя на незначительные уступки и провоцируя мелкие скандалчики. Возможно, мы все еще надеялись тогда вновь стать сильнее всех остальных. Но теперь, когда она, вся перепачканная выделениями прогресса, стала отдаваться кому попало, ночуя в сточных канавах и на помойках, нам пришлось осознать, что она уже не та, что была раньше. Голубые глаза, большие и наивные, чистые чувства, бывшие верность и покорность... Она приноровилась к новым нравам, к новому климату, изменение которого так расстраивало моего деда. Она стала алчной, изворотливой и циничной, искала свою выгоду в компании тех, кого дед с презрительной миной называл демагогами, продавалась любому, кто побольше заплатит, отдавалась негодяям, и, чтобы вскружить ей голову, достаточно было чем-нибудь ее удивить. Нас покинула принцесса, не разговаривавшая раньше ни с кем, кроме нас, а тут мы увидели девку, с хохотом бросавшуюся на шею первому встречному. Вот что мы думали об изменившей нам истории. И вот, пожалуйста! Представители семейства Реми-Мишо так любили успех, что в погоне за элегантностью, за развлечениями, за иллюзией свободомыслия в своем глупейшем стремлении выглядеть умными и талантливыми они заставляли нас опять ухаживать за историей. До этого мы решили ее презирать и больше не знаться с ней. Мы выгнали ее из Плесси-ле-Водрёя. А она влезла к нам через окна дома на улице Варенн, омываемая волнами черного света и прерывистой музыки.

К нам вернулась не та великая история, которую изображали Рюд и Делакура, Гюго и Жорес, история с открытой пышной грудью, с прекрасным лицом мадонны, с гордо откинутой головой, с ружьем в руке, история в разорванной, запыленной одежде, история свободы и народной борьбы. Ту историю мы знали. Мы относились к ней враждебно, но понимали ее. Несмотря на плохих пастырей, о которых часто говорил мой дед, между простонародьем и нами существовали тайные связи. На этот раз дела обстояли еще хуже. На улице Варенн поселилась модная история. В ней большую роль играли деньги, были замешаны толпы эстетов и подозрительных молодых людей, это была в наших глазах дьявольская история, высмеивающая всё и вся. Она была против нас не потому, что вышла из народа, к которому мы были ближе, чем художники и музыканты, чем интеллигенты и щеголи, а потому, что она выступала против традиции. Именно на улице Варенн, еще до Первой мировой войны или во время оной, Марсель Дюшан водрузил велосипедное колесо на кухонную табуретку и написал на гребешке лишние слова. Именно в доме на улице Варенн он пририсовал усы к Джоконде Леонардо да Винчи, которая являлась для нас, наряду с Пьетой Микеланджело, Никой Самофракийской, Венерой Милосской и афинским Акрополем, символом всего того, чем мы были обязаны прошлому.

Именно с улицы Варенн отправил он в Нью-Йорк, на Салон Независимых свой писсуар. Мы, конечно, почти никого не знали по ту сторону Атлантики, да и сам новый мир, со всеми его банками и его манией свободы, был нам безразличен и даже почти подозрителен. И тем не менее писсуар! Даже американцы, хотя они там почти все демократы и республиканцы, такого

не заслуживали. Именно на чердаке дома на улице Варенн, превращенном тетей Габриэль в мастерскую, какой-то русский нарисовал черный квадрат на белом фоне и продал его за безумные деньги. Если бы отголоски этих подвигов дошли до нас в Плесси-ле-Водрёй, нас больше всего огорчило бы то, что мы потерпели поражение на своей собственной территории. Мы всегда были противниками демократической веры в труд и в заслуги. «Слава Богу, – говорил почти серьезно один из моих прадедов, – мы еще принадлежим к числу тех в Европе, для кого усилия, труд и личные заслуги ничего не значат». А тут безумная мистификация пошла еще дальше нас. Как можно было говорить после подобных мерзостей о нашем традиционном хорошем вкусе, о нашем культе прошлого и предков, о нашем уговоре с Господом Богом, о нашей непреклонности и безыдейности. Ведь именно в одном из туалетов дома на улице Варенн на протяжении нескольких недель ручкой для спуска воды служило янсенистское распятие, оставшееся от моей бабушки. Только вмешательство дядюшки Поля положило конец этому безобразию. Старые газеты, наклеенные на холст, осколки разбитого зеркала, сор из помоек, подметки сношенных башмаков, обрывки шнурков, куски проволоки, тряпки, обертки от сыра, трамвайные билеты, петарды, сирены, рев слонов, вместо поэзии бессмысленное, безумное нерифмованное бормотание, новый мир без веры, без закона родился в старом особняке, носящем наше имя. Он был детищем незнакомцев, которых звали Рембо и Тцара, Зигмунд Фрейд, который был самым что ни на есть настоящим евреем, и Лотреамон, что ни на есть поддельный граф. У этих людей не было ни родословной, ни прошлого, ни Бога. Единственным их правилом стало разрушение всех правил. Мой дед никогда бы не принял их в своем доме. Ни талант, ни даже гениальность не заставили бы его изменить свое мнение. Скорее наоборот. Этот мир был против нас, ибо он весь состоял из интеллекта и духа разрушения. А мы были на стороне глупости и сохранения того, что существует. Нет, усилие, труд, личные заслуги ценились на улице Варенн не больше, чем в Плесси-ле-Водрёе. А вот талант и ум сверкали там тысячами огней. Тетушка Габриэль, которая желала возродить наше имя, тихо угасавшее в почитании прошлого, решила, что для того, чтобы оно засверкало тысячами огней, его надо сжигать в кострах грядущего. Неслыханный парадокс: наш род выживал и сохранял свой ранг, подобно сказочной птице феникс, хотя слегка и общипанной, через самоубийство и отступничество.

После стольких веков славы и преступлений, величия и отупения мы попали в ловушку, устроенную нам историей. Мы долго с ней играли. Теперь она играет с нами. Наше имя стало чем-то вроде ярко раскрашенного мяча, а Кокто, Дали, Пикабия, Морис Сакс и Дюшан принялись пинать его ногами, обнаруживая при этом большой талант, тот самый талант, который был нам так отвратителен на протяжении очень долгих лет.

V. Месть Жан-Кристофа

В одно прекрасное летнее утро 1919 или 1920 года, точно сейчас уже не припомню, во всяком случае вскоре после окончания Первой мировой войны, к станции Руссетт подъехал автомобиль из Плесси-ле-Водрёя, чтобы взять там одного приехавшего на поезде человека. То был один из обязательных персонажей двадцатипятивековой человеческой комедии, наследник Сократа, Рабле, Фенелона, Вольтера, Гёте, стендалевского Жюльена Сореля, «Ученика» Поля Бурже и «Изабеллы» Андре Жида, в общем, это был домашний учитель, невысокого роста молодой человек, жгучий брюнет с черными сверкающими глазами. Родился он в городе По, всего за несколько лет до бракосочетания дяди Поля и тети Габриэль. Он знал немножко латынь, немножко древнегреческий, прочел несколько книжек, был, как пробурчал дедушка, «агреже чего-то там» и довольно плохо одевался. Его нам с одинаковым легкомыслием рекомендовали прекрасная Габи и наставники-иезуиты. Он оказался племянником одного художника из окружения тетюшки Габриэль и одновременно бывшим учеником иезуитской школы с Почтовой улицы. Ему суждено было нанести нам непоправимый ущерб. Но я уверен, что, не будь его, то же самое сделал бы кто-нибудь другой.

Дедушка, насколько я помню, не испытывал враждебности по отношению к г-ну Жан-Кристофу Конту. Он встретил его одной из тех слегка обидных шуток, на которые был мастеров и из-за которых многие считали его дураком, каковым он вовсе не был. «Дорогой Конт, – сказал дедушка, широко улыбаясь и протягивая руку юноше, – я вижу, вы были прямо созданы для нас! Добро пожаловать в Плесси-ле-Водрёй». Скоро вы поймете, насколько горькой и комичной оказалась идея, будто г-н Конт был прямо создан для нас.

В его услугах нуждались Жак и Клод, два младших сына дяди Поля. Оба приближались к возрасту, когда получают среднее образование, и, несмотря на наше презрительное отношение к обязательному в Республике обучению, эпоха, жестокая эпоха, предписывала им учиться и сдавать экзамен на бакалавра. Долгое время мы разделяли мнение Лабрюйера: «Во Франции надо обладать очень твердым характером и разносторонним умом, чтобы избежать обязательной работы и сидеть дома, ничего не делая». Времена изменились.

Г-ну Конту было поручено заменить собой настоятеля Мушу и аббатов-реакционеров и за два-три решающих года научить нас, как говорилось, уму-разуму. На следующий же день после приезда он облачился в слишком новый коричневый костюм, надел галстук по меньшей мере сомнительного вкуса и приступил к делу. Я до сих пор мысленно вижу его в этом наряде, который вызывал у нас смех, когда мы сидели вместе с ним за обеденным столом. В перерыве между прогулкой на велосипеде и купанием в Сарте, в благочестивой тишине Плесси-ле-Водрёя раздавался его голос, рассказывавший о восстании Спартака, об убийстве Юлия Цезаря, о палочных ударах, полученных Вольтером, и об истории с ожерельем.

Мне неприятно касаться этой темы, но я должен сказать здесь несколько слов о себе самом. На этих страницах я, в общем, рассказываю не о себе, а о довольно любопытном существе, многоликом и неоднозначном, но по-своему цельном, исключительном и банальном одновременно, которое поддерживало со своим временем примерные и, тем не менее, двусмысленные отношения. Одним словом, я пытаюсь показать в разные годы и в разных людях коллективное мышление и развитие этого самого существа, каковым является моя старинная и любимая семья. Случилось так, что по ряду причин я оказался самым осведомленным свидетелем этой семьи. У меня была сестра, но она в счет не идет, поскольку, как вы уже знаете, в нашей семье девочки не имели права голоса. Ну а я был, как писали в сентиментальных романах, единственным сыном младшего брата в семье, оставшимся сиротой в четырнадцать лет. И к тому же отец и мать воспитали меня в духе, не совсем вписывавшемся ни в умонастрое-

ния дедушки и остального Плесси-ле-Водрёя, ни в более современные умонастроения тетушки Габриэль и улицы Варенн. До чего же сложна и удивительна в своей простоте жизнь!

По совершенно непонятной причине отец мой был либералом, а мать, в силу обстоятельств, о которых я постараюсь рассказать, с некоторых пор почувствовала, что любит людей больше, чем Бога. В Плесси-ле-Водрёе это выглядело весьма странно. Матушка моя вышла из очень старинной, очень бедной и никому не известной бретонской семьи. Выросла она без портретов предков, без дорогой посуды и без столового серебра, не в замке, а в старом доме в департаменте Иль и Вилен, где единственным ценным предметом считался деревянный сундук, не способный ввергнуть в искушение ни одного грабителя, поскольку содержал лишь семейный архив, свидетельствовавший, что род восходит к Реймонду V, графу Тулузскому, зятю Людовика VI, Толстому. То были бумаги, подтверждавшие знатность семьи, которая на протяжении веков только и делала, что беднела и уходила все глубже и глубже в безвестность. Брак моего отца очень порадовал дедушку. Мама была высокой брюнеткой с голубыми глазами, и после прихода в семью тети Сары и тети Габриэль появление этой бретонки с чистой кровью весь клан ощутил как дуновение свежего воздуха. Я уже говорил, что до прихода тетушки Габриэль деньги, известность и элегантность для нас не имели значения. Главным было имя. И имя моей матери было превосходным. Только вот беда – и для ее семьи, и для нашей, – мама ни во что не верила. Мне рассказывали, в том числе и она сама, что в детстве она верила во все: в привидения, в леших и домовых, в общение с потусторонней силой, во всякого рода божества, как христианские, так и чужеземные, и, разумеется, в возвращение короля, память о котором в Бретани конца XIX века была все еще жива. Мама, благодаря двум своим бабушкам, встреченным в необъятном мире хмельными от приключений и от традиций бретонскими моряками, была отчасти ирландкой, отчасти – испанкой. Смесь кельтской, гэльской и иберийской крови придавала ее характеру страстность и вместе с тем мечтательность. Она безумно любила моего отца, который был полной ее противоположностью. Гибель отца стала крушением всего ее мира. В то самое время, когда дедушка стал смиряться с Республикой, поскольку отдал ей трех сыновей и брата, мама возненавидела ее еще сильнее, чем прежде, потому что Республика, убив короля и изгнав из власти священников, еще и отняла у нее любимого человека. Так бывает с историей сердец, да и с историей как таковой: всему находят объяснения, только всегда разные. Дедушка остался монархистом, но примирился с Францией и почти примирился с республикой. Замкнувшись в своем горе и обиде, мать моя в конце концов потеряла веру во всех и во всё. Враждебное отношение к победившей демократии не вернуло ее к монарху. Даже королю в конечном счете она перестала верить. При всей ее мечтательности и страстности, она, будучи, очевидно, умнее всех в семье, ставила единственный вопрос, который только и мог разрешить проблему: «Король? Но какой король?» Ибо коварная история повернула дело так, что единственный претендент на трон, подобно Реми-Мишо, был потомком цареубийцы. Вероятно, из-за того, что мой отец пал, сраженный на Дамской дороге, убитый дождливым утром, которое я тщетно пытался представить себе, засыпая по вечерам у себя в спальне, порушились и вера матери, и ее способность надеяться, и ее привязанность ко всем тем ценностям, которые были привиты и ей, и многим другим в детстве. Мой дед, его отец, его братья, его дядя скорее всего уже не верили по-настоящему в возвращение короля. Но в сердце своем они сохранили невыразимую веру, которая для них была как абсолют для философов, как беспросветная ночь для мистиков, сохранили нечто, о чем нельзя ничего сказать, что нельзя описать и что можно лишь молча любить. А вот моя мать веру утратила. Она уже не верила в короля, который не вернется. Не исключено, что не верила она больше и в Бога, который пальцем не шевельнул, чтобы отвести на сантиметр пулю, убившую отца. Она возненавидела власть, правительства, войну – все, что тщилось играть какую-то роль в этой общественной комедии, убивающей отцов, сыновей, возлюбленных и мужей. Коренная бретонка, монархистка, легитимистка и католичка, мать моя не любила больше ничего, кроме человеческого горя. Опускаясь на колени перед распятием

в своей комнате, полной вещей, напоминающих ей о Бретани ее детства и о моем покойном отце, она молилась не Богу, а страдающему человечеству. Все мы – и дед мой, и прадед и весь наш род, – все мы любили Бога. Для нас он был главнее людей. А она любила людей, любила их жестокую и нелепую судьбу, их окровавленные рты, крики ужаса, вырывающиеся из их груди от боли, от страха перед смертью.

Когда я смотрел на свою мать, все более похожую с возрастом на живую статую, смесь ярости и жалости во плоти, мне было трудно вспомнить то счастливое лицо, какое у нее было рядом с отцом. И здесь тоже время отметилось своим разрушительным действием. Когда отец погиб, я был уже не совсем маленьким. Я мысленно вижу его, слава Богу, веселого и насмешливого, очень светловолосого, с глазами еще более синими, чем у мамы, с усами, какие тогда носили. Порой мне кажется, что его образ как-то ускользает от меня, растворяется в воздухе. Я повторяю про себя: «Голубые глаза, светлые волосы, нос с горбинкой, губы...» – но жизни в этом уже нет, остаются лишь слова, в лучшем случае – какие-то формы, цвет, детали, черты, которые уже не соединяются в лицо, в портрет, в то, что создает некое загадочное целое, больше духовное, нежели телесное. А потом вдруг как-то совершенно неожиданно, во время прогулки, в разговоре, вот он, мой отец, опять передо мной.

В моих глазах отец воплощал всю семью. Однако я чувствовал, что он не растворялся в ней. А не растворялся он в ней потому, что по многим важным вопросам в своих представлениях об истине, о свободе, о евреях, о деле Дрейфуса, о достоинствах людей, о самом Боге он исходил из идей, выработанных им самим. Откуда он их брал, эти идеи? Из времени, в котором он жил, от друзей, которых я не знал, от молчаливой прабабушки, никогда ни о чем не говорившей? От случайных встреч, быть может? Не знаю. Не очень я верю в роль случая, но, чтобы исключить его из расчета, надо было бы знать почти все, если не всю историю отца, то хотя бы всю историю мира. Такая задача меня немного пугает. Поэтому я расскажу вам здесь просто то, что я знаю о своем отце, не вникая в причины, которых, возможно, и не существует.

Отец мой был полной противоположностью бунтаря. Но он был также и противоположностью консерватора-фанатика. Что же касается моей семьи, то величие ее и великолепие составлял именно фанатизм, за что ее обожали одни и ненавидели другие. Дедушка мой вовсе не был каким-нибудь там чудовищем. Он желал счастья большинству людей, можно сказать, массам, всем людям. Но что касается того, каким путем добиваться счастья, то на этот счет у него было свое мнение. И от него он ни за что бы не отказался. У него была своя система ценностей, свои привязанности, свои неприязни, свои убеждения. Короче говоря, при всех своих достоинствах, при всем своем чувстве чести и культе прошлого, дед мой был воплощением нетерпимости. Отец же, наоборот, понимал почти всех. Я не уверен, что дедушка придавал большое значение наличию у человека ума. И многое в его поведении предопределялось этим недостатком или же, если вам будет угодно, этой добродетелью. А вот был ли очень умным мой отец? На этот счет по многим причинам я не хочу высказываться. Да я и не способен это сделать. Знаю только, что он обладал удивительной способностью понимать людей, понимать их мысли, их мании, их образ жизни, обладал способностью объяснять все это и даже подражать им. Он был везде как дома. Он был одним из немногих в семье, кого тетя Габриэль посвятила в тайну всего, что происходило на улице Варенн, всех ее безумных приключений, метафизических махинаций и взрывоопасных открытий. Разумеется, он никогда не говорил об этом в Плесси-ле-Водрёе. Если об уме моего отца – кстати, есть ли хоть малейший смысл у слова «ум»? – я не решаюсь судить, то о его характере я все-таки могу сказать несколько слов. На первый взгляд характера ему не хватало, притом что в начале двадцатого века всему Парижу были известны его обаяние и его веселые шутки. Если дедушка был непоколебим, прямолинеен, неукоснительно предан своим убеждениям, то открытость и любознательность отца можно было поначалу принять за легкомысленность. Он как бы порхал по жизни, веселясь и развлекаясь. Дед находился внутри системы, где все детали были прилажены одна к другой. Правда, эта система

уже почти не стыковалась с остальным миром. Дедушка не придавал этому значения. Отец же, наоборот, чувствовал себя великолепно в этом остальном мире, который он любил. Ему был совершенно чужд дух системы. И это явилось своего рода революцией в Плесси-ле-Водрёе, где прошлое, мораль, сплоченность семьи, миф имени жили именно благодаря этому духу и постоянно, непрерывно его воссоздавали, как в важнейших событиях, так и в мелочах.

Быть может, дедушка был не совсем неправ, считая, что малейшая трещина неминуемого превратится в огромную брешь, через которую внутрь здания ринутся варвары? Отец совершенно самостоятельно пришел к выводу, что король гол, и не верил, что такие понятия, как истина, красота и добро, определены раз и навсегда какими-то незыблемыми декретами. Строго говоря, отца можно было бы обвинить в измене делу белого знамени, династии Стюартов, праву наследования старшим сыном, классической суровости, целостности владений папского престола. Его ожидала на жизненном пути банальная и жестокая судьба либералов. Но он очень бы удивился, если бы его обвинили в измене предкам и в нарушении их заветов. Ведь он просто приспосабливал их к современным условиям. Задача эта была не из легких. В каком-то смысле он порывал с семейными традициями. А с другой стороны, он их спасал. Деду виделась лишь внешняя форма прошлого в чистом его виде, отец же старался сохранить его дух. Созерцание, неизбежно ставшее пассивным из-за эволюции нравов, из-за техники, из-за нового склада ума современников он заменил своего рода участием, симпатией и сообщничеством. Мне кажется, что здесь следует пойти несколько дальше и даже принять некоторые упреки, которые могли ему адресовать самые упрямые консерваторы. Я вовсе не уверен, что отец мой ставил превыше всего идеи, способы существования, мышления, поведения, нравы и привычки предков. Он полагал, что нам есть чему поучиться у всех людей и у всех эпох. Одним словом, он занес в пораженный летаргией замок Спящей царевны некий запретный, неслыханно скандальный товар, занес идею перемен.

Я должен сразу признаться, что любил отца. И восхищался им. Мне нравились его легкий образ жизни, его несколько старомодная элегантность, своеобразная манера быть верным, оставаясь неугомонным, нравилась его способность сохранять, подобно эквилибристу, равновесие, тревожное, но одновременно какое-то веселое равновесие между прошлым и будущим. Он с юмором смотрел на жизнь, на людей, но, подшучивая над ними, пытался их понять. Он был другом Жан-Луи Форена, Альфреда Капю и Тристана Бернара, нескольких представителей семейства Брой, девиз которого восхищал моего отца, так как объединял две силы, в равной степени импонировавшие ему до такой степени, что они буквально разрывали его. Этот девиз столь же древний, как и сама семья, гласил: «Для будущего». Мне кажется, что я до сих пор как зачарованный сижу и слышу беседы вокруг каменного стола, загадочные заклинания и таинственные формулировки, пролетавшие над моей головой. Дедушке больше нравился девиз Мортемаров: «Еще до того, как мир стал миром, Рошшуар катил свои волны», и девиз Эстергази: «В царствование Адама III Эстергази Господь сотворил мир». А отец противопоставлял им внешнюю скромность герцогов Брой, которые не ограничивались попытками проникнуть в тьму былого, но пытались продолжать создавать, а если надо, то и обновлять. Отец считал, что смысл прошлого состоит в будущем. Но в то же время он считал, что будущее зависит от прошлого. Дед был последователем Боссюэ и особенно восхищался знаменитым описанием колена Иудина, «исключительным правом которого было возглавлять другие племена». Он постоянно читал Барреса, выделяя почти его одного в океане литературы своего времени. «Что же я люблю в прошлом? – писал Баррес в своих „Тетрадах“. – Его печаль, его безмолвие и особенно его неподвижность. Все, что шевелится, меня раздражает». Дедушку также раздражало все, что шевелится. И ускорение движения современного мира часто погружало его в молчаливую меланхолию, прерываемую внезапными вспышками гнева и жестокой иронии. Историю он любил за ее неподвижность, за то, что она ушла навсегда в безвозвратную вечность. А отец, наоборот, любил ее за то, что она была живой, постоянно новой и за то, что она повелевала

будущим. Он черпал в ней силу и своеобразную радость, а отнюдь не мечтательную мифологическую меланхолию, наполнявшую наш дом вот уже более века.

Подобно многим мужчинам, а тем более женщинам его времени и его социального положения, отец мой не обладал обширными знаниями. Он очень мало читал. В последнее время я постоянно слышу в своем окружении жалобы на то, что молодежь очень мало знает. Однако школа, кино, телевидение и путешествия все же дают сейчас молодым людям, хотя и хаотично, без разбора, порой очень невнятно, более обширные представления о людях и пейзажах, истинах и заблуждениях, об убеждениях и сомнениях, чем дали моему отцу псовая охота, знание протокола и настоятель Мушу, вместе взятые. Были кое-какие не очень многочисленные вещи, которые он знал превосходно: даты французской истории, орфографию, церковную риторику, бордоские вина и генеалогию древних родов. Во всем прочем его знания были поверхностными. Философия, математика, художественная литература, далекие цивилизации – все, что отличалось какой-то новизной, несло в себе какую-то тайну, было трудно для понимания, оказалось недоступным ему главным образом из-за особенностей окружающей среды. Однако он самостоятельно открыл для себя романтическую поэзию, хотя по разным этическим, эстетическим и политическим причинам ее у нас в доме недолюбливали. Отец пошел дальше и проникся уважением к Ламартину и Гюго. Я до сих пор помню некоторые стихи Гюго, которым он учил меня чуть ли не тайком, когда мы гуляли перед ужином, по дороге, ведущей в Руаси, или по проселочным дорогам, проложенным к фермам, к прудам, к лесу. Так же как и в девицах древних родов Франции, в поэзии я воспринимал только музыку стихов, смысл которых часто оставался мне непонятным. Я ничего не знал о драме в Виллекье, где утонули дочь и зять Виктора Гюго, о Готье, о Клер Прадье, о политических и социальных битвах XIX века. А может, и отец тоже о них ничего не знал. Но я еще и сейчас мысленно вижу его, вижу, как он то вдруг останавливается с полусерьезным полуироничным выражением на лице, то вновь устремляется вперед большими шагами, опять останавливается и, поглядывая искоса в мою сторону, вскидывая вверх руки и трость, тихо, вполголоса, словно подсмеиваясь над самим собой, начинает читать стихи:

О, Родина! Согласие меж граждан...

или:

Ошибкой было бы считать, что песнями,
Триумфом обернется...

или:

Порой, усталостью сморенный, он засыпал
В тени копья, но ненадолго...

или:

О, грозный шум, с которым в полумраке
Для геркулесова костра дубы валились...

или:

Когда и мы уйдем туда, где вы сейчас, голубки,
Где мертвые младенцы спят и прошлая весна...

Казалось, стихи рождались из его движений, из ритма шагов. Размахивая тростью и слегка наклонив голову, он продолжал идти, и казалось, что он, находясь в каком-то другом мире, открывает мне двери, приглашает меня войти туда:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.